ВАСИЛИЙ РЯБОВ

ЭДРИАН КЕЛЛ

АТЛАС МЁРТВЫХ ШИРОТ



Василий Рябов

Эдриан Келл Атлас мёртвых широт

«Автор»
2026

Рябов В.

Эдриан Келл Атлас мёртвых широт / В. Рябов — «Автор», 2026

В мае 1958 года Эдриан Келл опоздал на собственные похороны. Пока викарий читал молитву, Келл пытался понять, кого хоронят в его пальто. В подкладку был вшит обломок медной доски, с которой печатали старинный «Атлас мёртвых широт».Вместе с реставратором Мирандой Гэрроу Келл едет в Лиссабон, где нашли тело. Миранда узнаёт гравировку: её отец уже выходил на след этого атласа. Та экспедиция стоила жизни одиннадцати людям, а указанные в атласе координаты до сих пор считают ошибкой.Из Лиссабона след ведёт в открытое море. Чтобы узнать, кого чуть не похоронили под его именем, Келлу придётся зайти туда, где, если верить картам, искать нечего.

© Рябов В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Покойник, который опоздал 6
Глава 2. Гроб на козлах 11
Глава 3. Почта для покойников 15
Глава 4. Дочь профессора 19
Глава 5. Зеркальная медь 23
Глава 6. Ужин с благодетелем 28
Глава 7. Пансион «Флор-да-Роза» 32
Глава 8. Гидрограф 36
Глава 9. Читальный зал 41
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Василий Рябов
Эдриан Келл Атлас мёртвых широт

Василий Рябов

Глава 1. Покойник, который опоздал

Эдриан Келл опоздал на собственные похороны на сорок минут. Позднее его сестра рассказывала, что узнала его именно по этому, ещё до того, как он открыл рот: ни один самозванец не стал бы так добросовестно портить церемонию, ради которой все собрались.

О церемонии он узнал накануне вечером на вокзале Ватерлоо, из «Таймс», которую купил лишь затем, чтобы занять руки, пока остывал чай. Грузовой пароход «Сан-Мигел», доставивший его из Понта-Делгады в Саутгемптон, не держал для пассажиров ни радио, ни особого к ним уважения, а до того Эдриан без малого три месяца прожил на острове Корву, где единственным окном в мир служил приёмник приходского священника, настроенный исключительно на футбольные репортажи из Лиссабона. Он вернулся в Англию загорелым, обросшим и твёрдо уверенным, что за время его отсутствия не случилось ничего существеннее очередной смены министров, и потому извещение, помещённое в колонке, где вслед за свадьбами идут те, кому жениться уже не придётся, он прочёл дважды — не оттого, что сомневался в тексте, а оттого, что хотел понять, кто его составлял.

«КЕЛЛ. 19 апреля в Лиссабоне скоропостижно скончался Эдриан Хью Келл, доктор философии, член Общества антикваров, в возрасте 37 лет. Прощание и погребение состоятся в церкви Св. Олдхельма, Хэддисли, Саффолк, в четверг 15 мая, в два часа пополудни. Цветов просят не присылать».

Лаконичность безошибочно выдавала сестру: только Констанс могла уместить человеческую жизнь в четыре строки и ещё сэкономить на цветах. Но дело было не в слоге. Девятнадцатого апреля Эдриан находился на высоте двухсот метров над океаном и с утра до вечера уговаривал мула, не желавшего идти по тропе к маяку; умереть в тот же день в Лиссабоне, почти за две тысячи километров от этого мула, было бы достижением даже для него.

Разумный человек на его месте немедленно послал бы сестре телеграмму, потревожил бы консульство и дождался бы, пока недоразумение разъяснится в установленном порядке. Эдриан рассудил иначе, по причинам, которые он сам называл научным любопытством, а сестра впоследствии называла иначе и менее лестно. Ему хотелось посмотреть, кого собираются похоронить вместо него.

Поезд на Саксмундем простоял сорок минут в Ипсвиче из-за неполадки, о природе которой никто не счёл нужным известить пассажиров, и за это время Эдриан успел построить три теории собственной смерти и отвергнуть все три как недостаточно изобретательные. Единственный на станции таксист, к его облегчению, оказался человеком разговорчивым.

— В Хэддисли, к церкви? Опоздали, сэр, — сказал он, не оборачиваясь. — Сегодня там хоронят того учёного, что помер в Португалии. Читали? Говорят, вытащили из реки. Племянница моей жены убирает у викария, так она сказала, что гроб привезли запаянный, как консервную банку, и никому даже не показали.

— Какая досада, — сказал Эдриан. — А вы его знали?

— Бог миловал, сэр. Но слыхал, что был с причудами. — Таксист удостоил пассажира взглядом в зеркале. — Вы, часом, не родственник?

— В некотором роде, — ответил Эдриан, подумав. — Самый близкий.

Дождь, начавшийся ещё в Ипсвиче, к Хэддисли превратился в тот мелкий и упорный дождь, который в Восточной Англии считают не погодой, а свойством ландшафта. Церковь Святого Олдхельма стояла на склоне, обращённом к морю, которого под низкими тучами не было видно, и старое кладбище вокруг неё было обнесено стеной из кремня, местами осевшей так, будто она давно махнула рукой на свои обязанности. Эдриан расплатился с таксистом, попросил его подождать, на что тот ответил выразительным молчанием, и, не поднимая головы,

двинулся между могилами к тису у дальнего угла ограды, откуда была видна свежая яма и всё, что происходило вокруг неё.

Людей вокруг неё было около пятнадцати, и стояли они той тесной, слегка враждебной группой, какую образуют люди, не вполне уверенные, зачем явились. Эдриан, привыкший судить о документах по бумаге, водяным знакам и качеству чернил, непроизвольно принялся оценивать и присутствующих. Сестру он узнал сразу: прямая, как зонт, в чёрном пальто и шляпе, которая стоила, по его расчёту, не меньше недельного жалованья её мужа, а муж, Джеральд, держал над ней второй зонт с видом человека, отвечающего за вторую половину неба. Рядом переминались два кембриджских профессора, не сказавшие Эдриану ни слова с пятьдесят второго года; их присутствие означало, что смерть оказалась куда действеннее всех примирительных писем, на которые он извёл столько бумаги. Чуть в стороне, без шляпы, в сером плаще, стояла женщина лет тридцати пяти с лицом, на котором скорбь не просматривалась ни под каким увеличением. Миранда Гэрроу, дочь покойного профессора Гэрроу, была последним человеком на свете, которого он ожидал здесь увидеть, и, пожалуй, единственным, у кого имелись основания прийти ради удовольствия. Она смотрела на гроб так, как смотрят на счёт, наконец оплаченный чужими руками.

Ещё дальше, под единственным в округе дубом, обнаружился тучный господин в котелке, с безупречно скатанным зонтом и усами такого хорошего каштанового цвета, что они не могли быть настоящими. Монтегю Фрэйн, которого Эдриан знал с войны, никогда не ходил на похороны, если с них нельзя было извлечь пользы, и сейчас, единственный из всех, не смотрел на гроб: он смотрел на людей. А у самой калитки, не приближаясь, стоял человек в тёмно-синем плаще, с чёрным зонтом и в новых, ещё не обмятых ботинках, единственных на этом кладбище, на которых не было ни пятнышка саффолкской глины. Такие ботинки не приходят пешком от станции. Время от времени человек подносил к лицу ладонь, и в ладони что-то коротко щёлкало.

Преподобный Трапп, немолодой и добрый, читал над гробом то, что положено читать, и Эдриану было приятно убедиться, что слова за триста с лишним лет нисколько не утратили достоинства, в отличие от гроба: дубовая крышка лежала на тесовых козлах, а поверх неё, мокрая, но чёткая, блестела медная табличка. «Эдриан Келл. 1921–1958». Как человек пишущий, он отметил, что даты указаны верно, и испытал странное почти профессиональное удовлетворение: хоть в чём-то нигде не наврали.

Когда чтение закончилось, викарий откашлялся и сказал то, что говорят в подобных случаях люди, знавшие умершего лишь по газетному извещению.

— Я не имел чести знать Эдриана лично, но мне говорили, что это был человек редкой пунктуальности...

Констанс кашлянула. Эдриан, стоявший в тени тиса, прикрыл ладонью лицо, чтобы не рассмеяться, и это было первое, что он почувствовал: не страх, не гнев, а такое веселье, какое бывает у людей на допросах.

Веселье продержалось ровно до того мгновения, когда викарий спросил, не желает ли кто-нибудь из близких сказать несколько слов, и сестра, к удивлению всех, включая мужа, сделала шаг вперёд. Констанс не произносила речей даже на собственной свадьбе, где ограничилась словом «да», сказанным так, будто возражений не принимается.

— Мой брат был человеком, с которым нелегко, — сказала она ровно, обращаясь к гробу, потому что к людям обращаться не умела. — Он перебивал, поправлял, забывал дни рождения и всегда оказывался прав в мелочах и неправ в главном. Но он всегда возвращался. Обычно не вовремя и с какой-нибудь историей, которая не оправдывала ни момента, ни возвращения. — Голос её на мгновение дрогнул, и она выждала, пока он выровняется, как выжидают, пока уляжется пыль. — Я не знаю, как ждать того, кто уже не придёт.

Эдриан за двадцать лет не слышал от сестры ни одной фразы, не прошедшей предварительной редактуры, и это оказалось хуже любой пощёчины. Он вдруг понял, что смотреть дальше, как она оплакивает чужого человека, — не любопытство, а жестокость, и что с этой минуты его интерес, как бы он ни старался, не сможет называться научным.

Он вышел из-под тиса и пересёк мокрую траву, зная, что вид у него для такого случая неподходящий: небритый, в мятом вельвете цвета высохшей тины и в жёлтом, как желток, плаще корвского рыбака, единственном, что осталось у него после того, как он забыл в Лиссабоне собственный. Остановившись в трёх шагах от могилы, он снял с плеча рюкзак, который в его положении мог бы сойти за багаж с того света.

— Констанс, — сказал он. — Прости, ради бога. Кажется, я вернулся.

Первым отозвался могильщик, старый Эймос Радд, который двадцать пять лет назад поймал юного Эдриана на краже яблок и с тех пор считал его существом, не способным ни на что хорошее, но способным на всё.

— Господи, спаси и помилуй, — сказал он и перекрестился с размахом методиста, прибегающего к этому средству только в крайних случаях. — Мастер Эдриан.

— Здравствуй, Эймос, — сказал Эдриан. — Прости, что беспокою.

Преподобный Трапп уронил очки в могилу. Это было единственное, что он сделал, и он сделал это с такой полнотой, что на некоторое время все присутствующие смотрели не на воскресшего, а на яму, откуда доносилось слабое звяканье стекла о крышку чужого, как выяснялось, гроба. Один из кембриджских профессоров сел на могильную плиту, другой начал деловито искать платок. Констанс не вскрикнула и не упала в обморок. Она очень медленно повернулась, оглядела брата с головы до ног, задержавшись на жёлтом плаще, потом протянула руку и, словно проверяя качество ткани, ущипнула его за рукав.

— Ты опоздал, — сказала она.

— Поезд, — начал Эдриан, — стоял в Ипсвиче...

— Ты опоздал, — повторила Констанс уже другим голосом, и Джеральд, сообразив наконец, что зонт ему больше не нужен, опустил его и подхватил жену под локоть, как раз вовремя, чтобы она села на край надгробия, на которое женщина её положения не села бы даже в день Страшного суда.

Дальнейшие несколько минут сложно назвать разговором. Эдриан объяснял, что находился на острове Корву; Джеральд спрашивал, где это; Эдриан отвечал, что это дальше, чем Саффолк, и ближе, чем Бразилия, что оказалось для Джеральда неудовлетворительным. Профессора, оправившись, выражали радость с тем осторожным достоинством, с каким ожидают, что воскресший сейчас же попросит у них денег. И только Констанс, у которой вернулся голос, поставила вопрос так, что его уже нельзя было обойти:

— Но тебя опознали. В Лиссабоне. Консульство написало, что сомнений нет.

— По чему, позволь спросить?

— По паспорту, по читательскому билету из какого-то архива, по визитным карточкам и по пальто с твоей меткой. — Она говорила быстро и сухо, как человек, зачитывающий протокол, потому что иначе пришлось бы чувствовать. — Они писали, что лицо было сильно повреждено и что осматривать тело не советуют. Что гроб надо запаять. Мы запаяли.

— Паспорт, — сказал Эдриан, — был просрочен?

— Не знаю. Я не... Какая разница?

— Он истёк в пятьдесят шестом. Лежал в кармане пальто и служил мне закладкой. Пальто зелёное, переделанное из армейского, с меткой «А. Х. Келл» на подкладке. Я забыл его в январе на вешалке в лиссабонском пансионе, потому что оно мне надоело. — Он помедлил, подбирая выражение, которое не прозвучало бы бестактно, и не нашёл. — Боюсь, дорогая, вы хороните моё пальто.

— Мы хороним человека, мистер Келл, — сказал преподобный Трапп, который, лишившись очков, моргал, как сова, но не потерял достоинства. — Кем бы он ни был.

— Совершенно верно, — согласился Эдриан. — В этом и состоит вопрос.

Из тени церковного крыльца, где он пережидал дождь с профессиональным терпением человека, привыкшего ждать, выступил мистер Поллард, содержатель похоронного бюро «Поллард и сын» (сына у него никогда не было). Это был высокий плоский человек, чьё лицо за тридцать лет скорби по долгу службы выбелило все прочие выражения, и он кашлянул в кулак так деликатно, словно извинялся перед каждым, кто мог его услышать.

— Прошу прощения, сэр. Позвольте уточнить. Вы желаете отказаться от наших услуг?

— Я желаю отказаться от покойника.

— Боюсь, сэр, — сказал мистер Поллард с искренним сожалением, — возврату не подлежит.

Викарий, нашарив в кармане запасные очки и водрузив их на нос, взглянул на гроб, потом на Эдриана, потом снова на гроб, и по его лицу было видно, как в нём борются любезность и совесть, причём совесть выигрывала с небольшим перевесом.

— Я не стану предавать земле гроб, о содержимом которого мне нечего сказать, — объявил он наконец. — Ни в одной службе нет слов, подходящих для такого случая. Мистер Поллард, будьте добры, отнесите покойного обратно в церковь. Он простоит там, пока не явится коронер, или Господь, или кто-либо ещё, способный разъяснить дело. Смотря кто окажется расторопнее.

Эймос Радд, вздыхая, начал накрывать могилу досками. Люди зашевелились, заговорили вполголоса, и пока Поллард с двумя помощниками, кряхтя, поднимал дубовый гроб с козел, Эдриан впервые заметил, что Миранда Гэрроу стоит прямо перед ним. Она не выказала удивления. Она смотрела на него так, как смотрят на документ, оказавшийся не тем, за что его выдавали.

— Я пришла убедиться, что вы действительно мертвы, — сказала она. — Но вы, как всегда, всё испортили.

— Мисс Гэрроу. Могу ли я в своё оправдание...

— Нет.

Она повернулась и пошла к калитке, не раскрывая зонта. У самой калитки она на секунду встретилась взглядом с человеком в новых ботинках, и тот едва заметно отвёл глаза, что Эдриан, привыкший замечать то, на что не обращают внимания остальные, отметил про себя дважды.

Когда человек в синем плаще подошёл к нему, мокрая трава уже опустела. Вблизи он оказался приятным, ничем не примечательным мужчиной лет сорока, с лицом, которое запоминаешь, только если специально стараешься.

— Мистер Келл? Позвольте вас поздравить. Мой работодатель просил передать, что слухи оказались преувеличены, и что он этому очень рад.

— Ваш работодатель, — повторил Эдриан. — А как его...

— Он предпочитает, чтобы о нём говорили после личного знакомства. Всего доброго, сэр.

Он приподнял зонт, как приподнимают шляпу, и пошёл прочь по дорожке, не оставляя на глине ни одного отпечатка, который Эдриан не мог бы потом опознать. «Слухи», подумал Эдриан. Не «сообщение», не «известие», не «ошибка». Слухи: то, что кто-то распускает, и то, чему кто-то ждёт подтверждения.

— Дорогой мой! — раздалось у него за плечом. Монтегю Фрэйн, оказывается, давно стоял рядом, прикрывая обоих зонтом, и вид у него был такой, будто он только что без малейших усилий выиграл небольшой, но приятный спор. — Ты потрясающе воскрес. Я бы рыдал от восторга, если бы не был так занят наблюдением.

— За кем?

— За теми, кто не рыдал. — Монти проводил взглядом синий плащ, исчезающий за калиткой, и усы его на мгновение приняли выражение, которое Эдриан видел у него лишь однажды, в сорок третьем, перед тем как тот спас их обоих от расстрела при помощи одного только каллиграфического почерка. — Скажи-ка мне одну вещь. Когда ты в последний раз видел своё пальто?

— В январе. В Лиссабоне. На вешалке.

— Тогда тебе, вероятно, будет любопытно узнать, — сказал Монти, — как оно оказалось в апреле на человеке, которого кто-то очень хотел видеть мёртвым именно под твоим именем.

Эдриан посмотрел на гроб. Его уже вносили в церковь по мокрым плитам крыльца, и дождь стекал по медной табличке, так что цифры 1921 и 1958 блестели одинаково уверенно, будто тот, кто заказывал их у ипсвичского гравёра, не сомневался, что вторая дата окончательна.

— Ну что ж, — сказал он. — Тогда мне, пожалуй, придётся познакомиться с собственным гробом поближе.

Глава 2. Гроб на козлах

Церковь Святого Олдхельма в десять часов вечера принадлежала, строго говоря, тем, кто в ней не нуждался: мышам, сквознякам и покойнику, поставленному на козлы перед алтарём под выцветшим покрывалом, которым в Хэддисли накрывали всех усопших со времён королевы Анны. Дождь не прекратился, а лишь сменил тон. Днём он барабанил, теперь же постукивал в свинцовые переплёты окон так мягко и настойчиво, как стучат люди, которым некуда идти.

Викарий, выслушав предложение, которое сам он определил как неприличное, но своевременное, долго отказывался, ссылаясь на закон, коронера и епископа, и в конце концов сдался с формулой, достойной дипломата: вручил мистеру Полларду ключ от ризницы, объявил, что принимает снотворное и с девяти часов спит, как человек, ни о чём не осведомлённый.

— Если к утру выяснится, что я по недоразумению кого-то не похоронил, — добавил он, помедлив в дверях и не глядя на гроб, — надеюсь, мне будет позволено об этом не знать.

Собралось четверо: Эдриан, Констанс, Монти и сам Поллард. Джеральда Констанс отправила ужинать в «Корону» с распоряжением ничего не рассказывать и ничего не слушать, что для Джеральда было естественным состоянием. Поллард принёс паяльную лампу, зубило, кусачки по жести и керосиновый фонарь, который поставил на ступень алтаря с осторожностью человека, накрывающего стол в чужом доме. Работал он молча и быстро, и по тому, как ловко он вывинчивал бронзовые шурупы один за другим, чувствовалось ремесло, о котором люди предпочитают не думать, а он за тридцать лет надумал так много, что составил о нём самое нелестное мнение.

— Я сам запаивал его в понедельник, сэр, — сказал он Эдриану, примериваясь зубилом к цинковому шву. — Прошу прощения. Консульский сопроводительный лист требовал. Цинк там у них добротный, португальский, а вот работа... Видывал и лучше.

— Надеюсь, вы не станете жаловаться на покойного, — заметил Монти из тёмного угла, где стоял, прижимая к носу платок, надушенный одеколоном, который стоил дороже самого гроба.

— Я никогда не жалуюсь на клиентов, сэр, — с достоинством ответил Поллард. — Я лишь констатирую.

Констанс не сказала ничего. Она пришла в церковь раньше всех, села на переднюю скамью и сидела там с таким прямым и неподвижным видом, что можно было принять её за ещё одну часть убранства. На коленях у неё лежала сумка, а в сумке — большой жёлтый конверт, присланный консульством вместе с гробом; Эдриан попросил его, как только узнал о существовании, и Констанс вручила конверт без единого слова, как вручают повестку. Теперь, когда лампа зашипела и цинк под её голубым пламенем начал поддаваться, она встала и подошла к изголовью.

— Ты можешь не смотреть, — сказал ей Эдриан.

— Я собиралась его хоронить, — ответила Констанс. — Мне кажется, я вправе знать, кого.

Крышка поддалась со вздохом, который, как потом уверял Монти, ему не показался. В воздух вышел запах, о котором не принято писать ни в романах, ни в мемуарах: речной ил, смола и сладковатая тяжесть, которую ничем не вытравить из дерева. Поллард, не меняясь в лице, чуть сдвинул фонарь. Констанс не шелохнулась и только крепче сжала ручку сумки, а Эдриан был ей за это благодарен, потому что сам на секунду отвернулся, чтобы привести в порядок желудок, не доверявший ему ни в чём со времён четырёхдневного плавания на «Сан-Мигеле».

В гробу лежал человек, завёрнутый в просмолённый парусиновый саван так, как заворачивают в порту груз, не подлежащий осмотру. Поллард надрезал шов у горла. Сказать, что лицо было неразличимо, значило бы ничего не сказать: удар о камни изуродовал его ещё до того, как тело вынесло к причалу. Монти издал звук, какой издают люди, решившие не издавать никакого. Эдриан придвинул фонарь и сделал то, что умел и чего никогда не стыдился: стал смотреть.

Волосы седые, коротко стриженные. Слева в верхней челюсти — золотая коронка, из тех, что ставят в хороших лиссабонских лечебницах и в плохих лиссабонских подвалах, различить которые по одному зубу невозможно. Рост на ладонь, а то и на две ниже его собственного, так что рукава пальто, подвёрнутые дважды, были подвёрнуты не человеком, а необходимостью. Руки лежали одна на другой, как их сложили в морге, и правую он осматривал дольше всего остального. На среднем пальце, там, где ложится перо, желтел твёрдый бугор мозоли. На указательном темнело пятно, не отмытое речной водой: чернила, и не современные, а то лиловое железо-галловое, которым пишут архивисты и дураки.

— Ему за шестьдесят, — сказал Эдриан негромко, ни к кому не обращаясь. — Всю жизнь он писал, и не письма друзьям. Он не носил тяжестей и не стоял на ветру. Он был правшой, а я левша, и это, пожалуй, единственное, что в нём совпадает с общественным представлением обо мне. — Он выпрямился. — Констанс, это не я.

— Я заметила, — сказала она. — Ты был бы выше.

Некоторое время все молчали. Дождь постукивал в окна, лампа остывала, и Эдриан услышал, как Констанс, глядя на неузнаваемое лицо чужого человека, произнесла то, чего он от неё не ожидал:

— Значит, у него кто-то есть. Кто-нибудь, кто ждёт письма.

Эдриан не нашёл, что ответить. Он снова наклонился над гробом, отчасти чтобы скрыть лицо, и сказал уже другим голосом, тем, каким обычно диктовал заметки на раскопках:

— Мистер Поллард, консул разрешил снять с него что-нибудь?

— Консул запретил, сэр. Одежда осталась на покойном: гигиена. Только документы отдельно, в конверт.

— Тогда позвольте мне пальто.

Поллард, не задавая вопросов, вспорол саван ниже и с помощью Эдриана, который почти не дышал, приподнял плечо мертвеца настолько, чтобы можно было расстегнуть пуговицы. Пальто было его собственным, в этом не оставалось сомнений, и мысль эта оказалась неприятнее, чем он предполагал: он узнал заплатку на правом локте, которую сам пришил зелёной ниткой в сорок девятом, прищурившись и ругаясь, и которая с тех пор держалась исключительно из вежливости. Он отвернул полу. На подкладке чернела вышитая матерью метка «А. Х. КЕЛЛ», выцветшая от стирок до цвета старой воды.

— Ваше, сэр? — спросил Поллард, хотя ответа не требовалось.

— Моё. Но тот, кто носил его последним, был аккуратнее меня. — Эдриан провёл пальцем по левому плечу, и палец остановился. — Вот здесь.

Монти подошёл ближе, забыв про платок.

На левом плече подкладка была заштопана. Заштопана она была и раньше: Эдриан помнил собственную работу, торопливую, неровную, зелёной нитью. Но поверх неё, а вернее, вместо неё, шла другая строка стежков, мелких, ровных, чёрных, продетых в одно и то же отверстие с точностью, которую не приобретёшь ни в армии, ни в семье. Каждый стежок был затянут ровно настолько, чтобы не морщить ткань, и закреплён маленькой петлёй, которую Эдриан видел до этого только на корешках книг.

— Переплётный шов, — сказал он. — Вощёная льняная нитка. Так не чинят одежду. Так прошивают то, что должно пережить владельца.

Под подкладкой, внутри ватной накладки плеча, нащупывалась пластинка, плоская и твёрдая. Поллард протянул ему лезвие. Эдриан разрезал чёрную строку стежок за стежком, не торопясь, как разбирают письмо, которое нельзя повредить, и в конце концов на ладонь ему лёг свёрток в промасленном шёлке, размером чуть больше игральной карты. В свёртке лежала медь.

Это был кусок гравировальной доски, вырезанный из большого листа неровно и, как показалось ему с первого взгляда, недавно: кромки светились голым, незатемнённым металлом, и следы мелкозубой пилы были ещё острыми. Доска была толстой, в два с лишним миллиметра, тёмной от времени и местами в зелёной патине, а по поверхности её бежали линии, тонкие, глубокие и уверенные, какие оставляет только рука мастера, успевшая давно перестать сомневаться. Он повернул её к фонарю и увидел то, что и должен был увидеть: текст, но наоборот, как в зеркале, потому что доска и должна читаться наоборот, чтобы оттиск читался как надо. Эдриан, который в детстве писал левой рукой справа налево и был за это бит линейкой, прочёл зеркальную надпись так же легко, как читают вывеску.

«ATLAS · LATITVDINVM · MORTVARVM».

Латинские буквы стояли в картуше, окружённом завитками, раковинами и крошечными морскими чудищами с тем добродушным коварством, какое было принято в амстердамских мастерских середины XVII века. Ниже, обрезанный пилой, тянулся угол карты: кусок береговой линии, не привязанный ни к одному побережью, какое он знал, несколько цифр, обрывок розы ветров с лучами, на конце одного из которых кто-то выгравировал крошечный якорь. А вдоль нижнего края, в рамке, шёл ряд из семи чисел, разделённых точками: 4 · 11 · 27 · 3 · 19 · 8 · 31. Эдриан смотрел на них, и где-то в глубине памяти что-то шевельнулось и снова улеглось. Он видел эти цифры. Он только не мог вспомнить где.

По привычке, заменявшей ему молитву, он трижды стал искать в доске изъян: слишком свежую патину, слишком ровную линию, анахронизм в рисунке завитков, неправильную глубину штриха, бывающую у тех, кто копирует, а не режет. Он проделал это с жёсткой, почти враждебной тщательностью, потому что подделки умел находить как никто, а подлинности всегда побаивался. И не нашёл ничего. Доска была настоящей, и это встревожило его гораздо больше, чем встревожила бы фальшивка.

— Эдриан, — сказал Монти странным тоном, — это то, что я думаю?

— Не знаю, что ты думаешь. Я думаю, что медные доски почти не доживали до наших дней, потому что мастера продавали их на переплавку, как только распродавали тираж. — Он осторожно повернул кусок в ладони. — Эту сохранили. Сохранили целиком, три столетия, а потом отпилили угол мелкозубым полотном, купленным не раньше, чем при Георге Пятом. И зашили в пальто покойнику, которого собирались похоронить под моим именем.

— Положи это обратно, — тихо сказал Монти. — Пока никто не видел.

— В том-то и дело, дорогой. Кто-то уже видел.

Он говорил, не поднимая головы, потому что за последние полминуты успел заметить то, что обычно замечал уже после того, как опасность проходила: тёмный прямоугольник окна справа от алтаря на мгновение стал чуть светлее в одной точке, будто там, в кладбищенской мокрой темноте, кто-то затянулся папиросой. Затем огонёк погас. Поллард, проследив его взгляд, ничего не сказал, но неторопливо задул фонарь на ступени и в наступившем полумраке произнёс самым профессиональным голосом, каким утешают вдов:

— Мне кажется, сэр, нам не следует задерживаться.

Констанс, не говоря ни слова, раскрыла сумку. Эдриан замешкался на секунду, потом завернул медь обратно в шёлк и положил в сумку, между носовым платком и молитвенником. Это было, по здравом размышлении, лучшее из возможных решений: никому в Англии не пришло бы в голову искать улику в сумке женщины, которая выглядит так, словно вся её сумка — одна большая претензия к миру.

— Я возьму её домой, — сказала Констанс. — Ты завтра придёшь за ней и выпьешь чаю. И ты расскажешь мне, что за дрянь затеялась в моей семье.

— Это не дрянь, — сказал Эдриан. — Это, возможно, пятнадцатый век. То есть семнадцатый. Я ещё не уверен.

— Тем более.

Пока Поллард, ворча, возвращал на место крышку и закручивал бронзовые шурупы с видом человека, которого обокрали в особо тонкой форме, Монти проводил Констанс к выходу, осторожно, словно носил на подносе стакан с водой. Эдриан остался один у гроба. Он взял с передней скамьи жёлтый конверт и вытряхнул содержимое на ладонь при свете единственной свечи: просроченный паспорт с фотографией, снятой в сорок шестом, на которой он выглядел тем, кем не был, то есть человеком, у которого всё впереди; визитные карточки с адресом, по которому он уже год не жил; и читательский билет Торре-ду-Томбу, выданный в январе на его имя. Билет был замусолен, как всё, что он носил в кармане. Но на обороте, под январской печатью, стояла вторая, апрельская, аккуратная, лиловая: «17 АВР. 1958», с двумя инициалами, не его.

Чужой человек возобновил его читательский билет за два дня до смерти. Человек, которому за шестьдесят, правша, с чернильной мозолью архивиста, с золотой коронкой лиссабонского зубного врача, с переплётным швом, которым зашивают то, что должно пережить владельца. Человек, который выбрал его, Эдриана, имя для последнего своего путешествия, а вернее, для последнего своего письма.

«Почта для покойников», подумал он без видимой причины. Мысль была нелепой. Её почему-то не хотелось отбрасывать.

Он достал из нагрудного кармана синюю бухгалтерскую книгу, которую носил там по привычке, как другие носят револьвер или молитвенник, отвинтил колпачок пера и, подвинув свечу, записал мелким, красивым, левосторонним почерком, которым втайне гордился:

«15 мая 1958. Забыл пальто в Лиссабоне. Последствия: собственная смерть (временная), один посторонний покойник, один кусок меди. Оценка: на этот раз, пожалуй, виноват не только я».

Он подумал, перечеркнул «пожалуй» и написал «не только», и в этой правке было больше честности, чем он позволял себе обычно. За окном снова стало темно, и в темноте никто больше не курил.

Глава 3. Почта для покойников

Дом Констанс назывался «Липы», хотя ни одной липы вокруг него никто никогда не видел, и стоял в двух милях от Хэддисли, за поворотом, откуда начинались поля, принадлежавшие, по словам Джеральда, «одному неприятному человеку». Чай там заваривали как приговор: крепко, в строго назначенное время и без права обжалования. Эдриан, проспавший шесть часов на диване в гостиной под пледом, который помнил ещё бурскую войну, вышел к завтраку в чужой рубашке и обнаружил за столом сестру, зятя, Монти и целую гору бумаг.

— Это то, что прислали из консульства, — объявила Констанс, пододвигая ему сразу всё. — Телеграмма, письмо и счёт. Счёт тоже прислали. Они считают, что запаянный гроб стоит двенадцать фунтов, и я с ними не согласна, но спорить было не с кем.

Телеграмма от двадцать второго апреля занимала три строки: «С сожалением сообщаю ваш брат Эдриан Келл скончался Лиссабоне девятнадцатого апреля тчк подробности письмом тчк вице-консул Харгривз». Письмо было многословнее и по-казённому уклончивее: тело обнаружено у причала Кайш-ду-Содре, из-за травмы лица опознание по фотографии невозможно, личность установлена по документам при покойном, ввиду состояния останков осмотр родственниками не рекомендуется. Эдриан прочёл его дважды, с карандашом в руке, как читал всё, что подозревал в лжи, и на втором абзаце карандаш остановился.

— «Первое сообщение о возможной личности покойного поступило по телефону, — прочёл он вслух, — от дамы, говорившей по-английски с португальским акцентом и не пожелавшей назвать себя. Сведения подтвердились документами».

— Какая внимательная дама, — сказал Монти, намазывая тост с той сосредоточенностью, с какой другие люди пишут завещания.

— Очень, — сказал Эдриан. — Позвонила, видимо, ещё до того, как кто-либо успел спросить. Тело нашли утром девятнадцатого. Документы у него в кармане, консульство их нашло бы и без неё. Но какая-то португалка, не называя имени, сообщила, что покойный непременно Келл. Зачем?

— Из любви к ближнему, — предположил Джеральд.

— Из любви к ближнему не звонят в консульство, не назвав имени, — ответил Эдриан. — Из любви к ближнему приходят с цветами. Звонят из чего-то другого.

Он отложил письмо и посмотрел на Монти.

— Когда ты узнал, Монти?

— О твоей смерти? — Монти аккуратно положил нож. — Двадцать четвёртого, дорогой мой. Из циркуляра.

— Мистер Фрэйн позвонил мне двадцать третьего, — сказала Констанс, не поднимая глаз от чайника. — Вечером. Он предложил помочь с формальностями.

За столом образовалась пауза, в которой отчётливо слышалось, как часы в прихожей отсчитывают чьё-то терпение. Монти вздохнул так, как вздыхает человек, давно ожидавший этого вопроса и уже подготовивший на него три ответа, из которых теперь придётся выбрать самый невыразительный.

— Я слышал по телефону от одного коллеги, в частном порядке, — сказал он. — Накануне. Потом, разумеется, подтвердилось. Не смотри так. Ты, когда обнаруживаешь у кого-нибудь неточность в датах, делаешь такое лицо, что хочется немедленно сознаться хотя бы в чём-нибудь.

— Консульство опознало тело по просроченному паспорту, — сказал Эдриан. — Ты знаешь консульство лучше меня. Ты понимал, что опознание шаткое?

— Опознавать — дело консульства. Министерство в такие вещи не вмешивается.

— И ты не подумал дать мне знать? На Корву, например?

— На Корву, дорогой, не телеграфируют. Туда пишут, и письма доходят к июлю. — Монти слегка приподнял бровь. — К тому же есть вещи, о которых нельзя просто так оповещать остров с одним радиоприёмником, настроенным на футбол. Если бы я знал, что ты жив, я бы, разумеется, сообщил. Но я предпочёл поверить консульству, потому что в моём ведомстве поступать иначе считается дурным тоном.

— Ты предпочёл не опровергать, — сказал Эдриан тихо. — Это не то же самое.

— Спешил не я, — ответил Монти, и в первый раз за утро в голосе его не прозвучало ни тени иронии. — Кто-то слишком спешил, Эдриан. С телефонным звонком. С извещением в «Таймс» (а там, прости, не только Констанс постаралась: заметку подали с такой скоростью, что в редакции удивились). С тем, чтобы гроб как можно скорее оказался в земле. Я хотел посмотреть, кто так торопится.

— И увидел.

— Я увидел человека в новых ботинках. Хотя, должен признать, ты увидел его раньше, чем я.

Эдриан взял чашку, обнаружил, что чай остыл, и всё равно выпил. Он знал, что собеседник сказал правду, и знал, что это не вся правда: у Монти, как у хорошего повара, всегда оставалась в рукаве ещё одна порция, которую он подавал лишь по особому требованию. Обычно с большим опозданием.

Медь он оставил Констанс. Идея принадлежала ей, и ему пришлось признать, что лучшего тайника не придумал бы и профессионал: после завтрака она при нём достала из ящика буфета толстую папку с надписью «Налоги Дж. Лидделла, 1949–1957», сунула обломок в промасленном шёлке между декларацией за пятьдесят третий год и разъяснением инспектора по налогу на недвижимость и водворила папку на место.

— Туда не заглядывает никто, — сказала она. — Включая самого Джеральда, который, как ты знаешь, считает налоги формой оскорбления.

Эдриан поцеловал сестру в щёку, чего не делал с детства, и ушёл с чувством, что день, начавшийся так плохо, был, по крайней мере, начат человеком, умевшим вести дела.

Квартира Эдриана помещалась на втором этаже узкого дома на Гилфорд-стрит, между складом переплётных материалов и конторой, торговавшей, по слухам, подержанными адвокатами. Хозяйка, миссис Фенвик, женщина решительная и необыкновенно чистоплотная, открыла дверь на звонок, посмотрела на жильца, который не появлялся три с половиной месяца, и издала звук, какой издаёт чайник, забытый на плите.

— Мистер Келл! Но вы же умерли!

— Это недоразумение, миссис Фенвик, — сказал Эдриан. — Временное.

— Я заказывала по вас службу! Я купила чёрную ленту! — Она прижала ладонь к груди, потом, вспомнив, что есть вещи важнее, убрала её. — Я, мистер Келл, обязана вам напомнить, что за апрель вы не платили.

— Покойники, как правило, не платят.

— Покойники, как правило, и не возвращаются, — заметила миссис Фенвик с достоинством, которое делало ей честь, и протянула ему огромную стопку писем, перетянутую бечёвкой, — а вот почта по-прежнему идёт.

Почта шла, как выяснилось, с поразительной щедростью. Пока Эдриан поднимался по лестнице, он разбирал её на ходу, не глядя под ноги, как привык разбирать на раскопках чужие черепки: счёт от портного, которому он не заказывал костюма; два письма из Общества антикваров с вопросом, нет ли у него возражений против исключения за неуплату взносов; открытка с Мальты, с видом на крепость, от человека, которого он не мог вспомнить; и, наконец, плотный конверт кремового цвета, с типографским оттиском в углу: «Международный фонд безопасности мореплавания», а ниже, мелкими буквами, «председатель сэр Лайонел Ормонд, Бт.».

Эдриан остановился на площадке. Фонд он знал. Любой, кто писал о карте, которую в сорок девятом году профессор Септимус Гэрроу объявил греческим периплом Атлантики, знал, что в пятьдесят первом году Фонд Ормонда снарядил под неё экспедицию, потерял в Атлантике судно и одиннадцать человек и после этого раз и навсегда перестал давать интервью. Из конверта выпала карточка.

«Дорогой доктор Келл, — было написано на ней твёрдым, изящным, чуть наклонённым почерком человека, привыкшего, чтобы его читали, — с глубокой скорбью узнал о Вашей кончине. Мне хотелось бы выразить личное уважение к Вашему труду о так называемой «греческой карте», избавившему многих от иллюзий и стоившему некоторым так дорого. Надеюсь, что сделанное Вами будет оценено по достоинству. Искренне Ваш, Лайонел Ормонд. 20 апреля 1958 г.».

Двадцатое апреля. Эдриан перечитал число дважды, прислонившись плечом к стене. Тело нашли девятнадцатого. Консульство сообщило сестре двадцать второго. А кто-то в Лондоне уже двадцатого садился писать соболезнование, и садился не без осведомлённости: тем, кто так заботливо выразил личное уважение к его труду, не требовалось ждать газетного извещения. «Нужно быть очень близко к Лиссабону, — подумал он, — чтобы узнать о моей смерти раньше, чем о ней узнала моя сестра».

Он стоял так, может быть, полминуты, когда услышал наверху, за дверью собственной квартиры, шорох.

Дверь оказалась приоткрытой. Мягкий звук, слабый, почти уютный, как будто кто-то аккуратно выдвигал и задвигал ящик письменного стола, доносился из кабинета. Разумный человек, повторил про себя Эдриан, спустился бы вниз и вызвал полицию. Но разумный человек сегодня уже один раз был похоронен, и больше от него ждать было нечего. Он тихо повесил рюкзак на перила, взял в левую руку зонт миссис Фенвик, оставленный в углу, а в правую письма, как будто это могло сойти за оружие, и вошёл.

В кабинете, у открытого книжного шкафа, стоял молодой человек в тёмном плаще и обуви на мягкой подошве, и в руках у него была картонная папка с выцветшей надписью «ГРЕЧЕСКАЯ КАРТА, 1950–1952». Он не выглядел ни испуганным, ни особенно торопящимся, как служащий, которому поручено получить в архиве справку. Увидев Эдриана, он только слегка наклонил голову, словно признавая, что вежливость обязывает отвечать на появление хозяев.

— Прошу прощения, — сказал Эдриан, и голос его, к собственному удивлению, звучал почти светски. — Вы, по-видимому, ошиблись квартирой. Хотя нет. Дверью вы, строго говоря, не ошиблись. Вы её вскрыли.

Молодой человек не ответил. Он сделал шаг вперёд, прижимая папку локтем, и Эдриан, исходя из старой привычки к вежливости, которая в минуты опасности становилась у него почти болезненной, выставил зонт, как выставляют шлагбаум, и произнёс: «Я бы просил вас положить это на место». На этом военные действия и начались. Молодой человек коротко и очень точно ударил локтем, не в лицо, а чуть выше, туда, где кончается бровь, и Эдриан, увидев множество маленьких светящихся точек, отступил на шаг назад и наткнулся на стопку томов Страбона в зелёных переплётах «Лёбовской классической библиотеки», которая немедленно разъехалась под его ногами. Он упал спиной на ковёр, и зонт, столь неудачно взятый в союзники, отлетел под диван.

Успел он только одно: когда молодой человек перешагивал через него, Эдриан обеими руками вцепился в его рукав, дёрнул, и что-то маленькое, твёрдое чиркнуло по его щеке и закатилось под ножку стола. Потом хлопнуло окно, лязгнула железная лестница чёрного хода, и в дворике, где миссис Фенвик сушила бельё, раздался женский вопль, с каким принято встречать мужчин, спрыгивающих с пожарной лестницы в чистое бельё.

Эдриан полежал ещё несколько секунд, глядя в потолок и считая трещины, потом сел, ощупал надбровье, обнаружил кровь, не слишком обильную, и сказал вслух, потому что рядом никого не было, а сказать было необходимо:

— Нет, это, конечно, нелепо.

Из-под стола он достал то, что оторвал: запонку. Серебряную, тяжёлую, дорогую. На её овальной поверхности была вытравлена окружность, в окружности — роза ветров из четырёх лучей, а поверх — латинская «М», вписанная так искусно, что при первом взгляде казалась частью рисунка. Эдриан повертел запонку в пальцах. Монти, подумал он тут же и отбросил мысль почти с обидой: Монти никогда не носил ничего, что можно потерять в драке. А «М»... «Меридиан»? «Мортуа»? «Ормонд» не начинался на «М», но у фонда, который строил свои суда, как знал каждый моряк, под вензелем «М», могло быть название на любую букву, лишь бы она вела к одному ответу.

Он встал, сложил Страбона обратно в стопку, потому что не мог иначе, и обошёл кабинет, ожидая разгрома. Разгрома не было. Книги стояли на местах, бумаги лежали аккуратно, ящики были задвинуты, а там, где искатель счёл нужным взглянуть и положить обратно, всё лежало так, словно его вообще никто не трогал. Пропала только одна вещь: папка с подборкой писем, заметок и рабочих эскизов к статье «Карта, которой не было», самой громкой и самой неприятной из всех его работ. Гэрроу. «Греческая карта». Пятьдесят второй год.

И тут же, как это бывает с цифрами, когда перестаёшь о них думать, на дне памяти что-то шевельнулось и встало на место. Он сжал запонку в кулаке. Семь чисел. Четыре, одиннадцать, двадцать семь, три, девятнадцать, восемь, тридцать один. Он видел их не в чужой книге. Он видел их на полях карты, которую сам когда-то разоблачил.

Они искали не медь. Они искали Гэрроу.

Он сел за стол, достал из кармана листок папиросной бумаги, на котором ночью, под свечой в церкви, снял карандашом оттиск с обломка доски, и положил рядом с цифрами, которых больше не мог проверить, потому что единственный экземпляр, где они были, только что вынесли в карман тёмного плаща. Тот, кто так аккуратно перебирал бумаги, не разбрасывал и не ломал, никуда не торопился и не оставил следов, кроме запонки, оторванной в схватке, терпеливо ждал его возвращения. Не его даже: возвращения чьего-то мертвеца. И это было хуже любой грубости.

Внизу миссис Фенвик, не прекращая кричать про бельё, заодно взывала к полиции. Эдриан спрятал запонку в жилетный карман, вытер кровь платком, накинул на плечо рюкзак и подумал, что до Кембриджа есть поезд в шесть пятнадцать. Дочь человека, которого он погубил, жила в доме отца на Гранчестер-роуд, и было довольно очевидно, что единственная папка в Англии, которой не коснулись чужие руки, хранится именно там.

Глава 4. Дочь профессора

Дом профессора Гэрроу на Гранчестер-роуд был из тех кембриджских домов, которые выглядят так, будто в них никогда не бывало ничего, кроме чтения: красный кирпич, белые наличники, сад, где розы росли с той же дисциплиной, с какой, по слухам, хозяин когда-то вёл семинары. Когда Эдриан добрался туда на велосипеде, взятом взаймы у привратника вокзала за обещание вернуть его в понедельник, дождь, не отставáвший от него от самого Саффолка, был так же неотступен, как кредитор. Он поставил велосипед к ограде, поднялся на крыльцо, позвонил и, ожидая, вспомнил, что в последний раз стоял на этом самом месте шесть лет назад и что дверь тогда не открыли.

Теперь открыли. Миранда Гэрроу стояла на пороге в сером платье и холщовом фартуке, испачканном чем-то бурым, с волосами, стянутыми так строго, что казалось, будто они испытывают боль. Она посмотрела на него без малейшего удивления, и по этому спокойствию он понял, что она ждала его: не его самого, а того дня, когда кто-нибудь вроде него придёт. Взгляд её задержался на ссадине над бровью, оценил её, как оценивают дефект на странице, и вернулся на лицо.

— Вам нужен шов? — спросила она.

— Не думаю.

— Тогда заходите, пока вы не капнули на коврик. Коврик у нас хороший.

Она повела его по коридору, где пахло воском, старой бумагой и чем-то лекарственным, и Эдриан, не удержавшись, окинул взглядом знакомые корешки на полках гостиной: Плутарх, Страбон, «Перипл Эритрейского моря», гроссбух Лиссабонской таможни за 1710 год. Профессор, как всякий настоящий учёный, никогда не расставался с вещью, которую мог открыть в любой момент. Эдриан только сейчас заметил, что ни одна из книг не сдвинута ни на дюйм.

— Я ничего не трогала, — сказала Миранда, перехватив его взгляд. — Ни одной. Шесть лет. Это называется скорбью. Хотя скорее суеверием.

Она села на жёсткий стул, не предложив стула ему, и он остался стоять посреди гостиной, как человек, ожидающий приговора и желающий подчеркнуть, что у него есть идеи насчёт обжалования.

— Вы живы, — сказала Миранда. — Я предполагала, что так оно и окажется. Вы слишком рассеянны, чтобы умереть в срок.

— Вы пришли на похороны, чтобы убедиться.

— Я пришла, потому что хотела увидеть, как вы будете выглядеть мёртвым. — Она не улыбнулась. — Должна же быть в жизни хоть одна радость.

— Мисс Гэрроу...

— Не начинайте. Я прочитала вашу статью, доктор Келл. Все десять страниц, с примечаниями. Это очень хорошая статья. Каждое утверждение в ней верно, и ни одного слова сожаления. Я искала. Я даже читала примечания мелким шрифтом на случай, если вы спрятали его там.

— Статья не место для сожалений, — сказал Эдриан.

— А где, по-вашему, это место?

Он не нашёл ответа, и это молчание стоило ему дороже, чем он ожидал. Он слишком хорошо знал, что мог бы сказать, и что она слышала бы в его словах: оправдание. Поэтому вместо ответа он достал из кармана листок папиросной бумаги, на котором ночью снял карандашом оттиск с меди, и положил на стол между ними.

— Я пришёл не за прощением, — сказал он. — Я пришёл по делу, и мне нужна ваша помощь. Не потому что вы мне что-то должны. Потому что вы единственный человек, кроме меня, видевший эти цифры.

Миранда не взяла листок. Она наклонилась к нему, не касаясь, и Эдриан впервые заметил, что её левая рука, лежавшая на колене, подносится ко рту, пока она читает, и что зубы осторожно, почти нежно прихватывают ноготь большого пальца. Она, кажется, этого не замечала.

— Что это? — спросила она.

— Оттиск с обломка медной гравировальной доски. Я нашёл её вчера ночью, в подкладке моего собственного пальто, на теле человека, которого вчера собирались похоронить как меня. — Он сказал это так спокойно, что она подняла глаза. — Это часть титульного листа неизвестного мне атласа середины семнадцатого века. Ниже угол карты и ряд чисел: четыре, одиннадцать, двадцать семь, три, девятнадцать, восемь, тридцать один.

В комнате стало очень тихо. Где-то в глубине дома пробили часы, и Эдриан успел подумать, что, если бы он умел держаться на одной ноте дольше, чем на три секунды, он был бы, вероятно, не историком, а музыкантом.

— Сегодня днём кто-то обыскал мою квартиру, — продолжил он. — Всё осталось на местах. Исчезла одна папка: подборка по «греческой карте». Я думаю, что искали вашего отца, мисс Гэрроу. Я думаю, что искали именно эти числа. И я думаю, что кто-то хотел, чтобы я умер так вовремя, что не смог бы ничего заметить.

— Кто? — спросила она.

— Не знаю. Но вчера мне написал человек, которого вы, возможно, знаете. Лайонел Ормонд.

Миранда не вздрогнула. Она только перестала грызть ноготь, и в этой остановке было что-то, чего он не понял и положил в память, как кладут в коробку находку, смысл которой выяснится позже.

— Он писал и мне, — сказала она. — Трижды. С прошлой осени.

Она встала, подошла к бюро в углу, выдвинула верхний ящик и достала из него три конверта кремового цвета с типографским оттиском в углу. Эдриан узнал бы их с закрытыми глазами. Она положила их перед ним на стол, как кладут карты, которые не собираются беречь.

Письма были написаны тем же изящным, чуть наклонным почерком, что и соболезнование. Ормонд выражал глубокое уважение к памяти профессора Гэрроу. Ормонд выражал сожаление по поводу «несправедливой и поспешной оценки» последних работ покойного. Ормонд предлагал купить архив профессора за сумму, которая заставила Эдриана непроизвольно присвистнуть, и, что было важнее денег, «содействовать пересмотру научной репутации, пострадавшей в силу обстоятельств, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться иными, чем принято думать». В третьем письме, самом коротком, было всего три строки: он писал, что готов принять её в любое время и что считает себя обязанным её отцу «гораздо более, чем это может показаться».

— Вы не ответили, — сказал Эдриан.

— Я не отвечаю людям, которые потеряли одиннадцать человек из-за вещи, которую считали настоящей, — сказала Миранда. — И не отвечаю людям, которые утверждают, что мой отец был настоящим. Мой отец был лжецом. Вы доказали это. Все остальные только соглашались.

Она произнесла это без малейшего ожесточения, как читают цитату, и Эдриан понял, что слова давно износились на её языке, как монета, которую слишком долго носили в кармане. Они больше не звучали как обвинение. Они звучали как заученное правило, которое она повторяла себе, чтобы не думать, что оно, может быть, неверно.

— Пойдёмте, — сказала она вдруг, снимая фартук.

— Куда?

— В библиотеку. Мне нужно видеть, а не вспоминать. У вас есть привычка не доверять собственной памяти, когда речь идёт о подделках. Я её у вас позаимствовала.

Университетская библиотека на Вест-роуд поднимала над крышами Кембриджа свою кирпичную башню, как поднимает палец человек, привыкший, что его слушают без возражений. Миранда провела его через служебный вход, отперла две двери ключом, который достала из выреза платья на цепочке, и оставила дежурного сторожа спать над кроссвордом, не потревожив даже кивком. Они поднялись по узкой лестнице на самый верх, в комнату без окон, где пахло клейстером, кожей и сухой пылью, и где на длинных столах лежали раскрытые фолианты, подвязанные тесьмой, как больные.

— Я устроилась сюда через год после его смерти, — сказала Миранда, зажигая лампу над столом. — Реставратором. Ни одна реставрационная мастерская в стране не взяла бы дочь Гэрроу, а здесь я целыми днями могу быть рядом с вещью, о которой писали в газетах. Некоторым нужен для скорби повод. У меня он архивного типа.

Она отперла металлический шкаф, достала плоскую папку из бескислотного картона, развязала тесёмки и отодвинула шёлковую прокладку. Эдриан увидел её сразу, потому что хорошо знал: обрывок папируса размером с большой лист писчей бумаги, бурый, с неровно оборванными краями, и на нём то, что в 1950 году потрясло половину мира и вызвало смех другой половины. Греческое побережье, которого не существовало. Россыпь островков в красновато-чёрных чернилах. Греческие подписи, выведенные с тем характерным ровным нажимом, который был у профессора Гэрроу и, как оказалось впоследствии, у многих специалистов по греческому письму эпохи эллинизма. И в нижнем углу, как старый шрам, тонкий рисунок, который он сам когда-то обвёл красным карандашом на репродукции в статье и назвал «роковой оплошностью автора».

Роза ветров. Шестнадцать лучей, расходящихся от центра, каждый заканчивается крошечной стрелкой, и один, северный, отмечен лилией. Магнитный компас, как известно, не был знаком грекам и вообще никому на Средиземном море до двенадцатого столетия. Ни один эллинистический мореход не нарисовал бы такой розы, и Эдриан, шесть лет назад, держа в руках то же самое, ликовал, как охотник, нашедший, наконец, след в снегу.

— Смотрите, — сказала Миранда и положила рядом с папирусом лупу. — Нижний край. Вы никогда не писали о нём.

Под линией берега, на самом краю папирусного обрывка, тянулась цепочка из семи греческих букв, разделённых точками: Δ · ΙΑ · ΚΖ · Γ · ΙΘ · Η · ΛΑ. Эдриан смотрел на них минуту, не дыша, пока в голове не сложилось то, что должно было сложиться шесть лет назад. Греки обозначали числа буквами. Дельта — четыре. Йота-альфа — одиннадцать. Каппа-дзета — двадцать семь. Гамма — три. Йота-тета — девятнадцать. Эта — восемь. Лямбда-альфа — тридцать один.

— Четыре, одиннадцать, двадцать семь, три, девятнадцать, восемь, тридцать один, — сказал он вслух.

— Я записала их в тот день, когда ваша статья вышла, — сказала Миранда и достала из кармана платья сложенный вчетверо листок, на котором, кроме этих чисел, ничего не было. — Не знаю зачем. Отец показывал мне их в детстве. Он говорил, что это его «лотерейный билет». Я ждала, когда он выиграет.

Эдриан развернул рядом папиросную бумагу с оттиском медной доски. Ряд цифр на ней был зеркальным отражением цифр на листке Миранды.

— В вашей статье они названы позднейшей нумерацией коллекционера, — сказала она. — Это ваши слова. «Почти наверняка Викторианской эпохи».

— Это были мои слова, — тихо согласился он.

— Значит, мой отец знал об этой меди ещё в пятьдесят втором. Или знал, что она существует. — Миранда произнесла это ровно, без малейшего волнения, как зачитывают результат анализа, но пальцы её, лежавшие на краю стола, побелели. — Или он вписал в подделку шифр

настоящего атласа. Что вы мне объясните? Подделка, в которую встроена подлинная вещь. Так бывает?

— Так бывает, — сказал Эдриан и услышал, как сухо звучит его голос. — Подделыватели иногда прячут в своих работах подписи. Чтобы им не приписали чужого. Или чтобы потом доказать, что это сделали они.

— Мой отец не был подделывателем.

— Профессор Гэрроу использовал палимпсест, смытый и переписанный железо-галловыми чернилами, нанесёнными в двадцатом столетии, — сказал Эдриан. — Он нарисовал компас, которого не могло быть. Он подпёр всё подлинным греческим почерком и ссылкой на несуществующую публикацию. Я не знаю, как это назвать иначе.

Она посмотрела на него, и он впервые увидел в этих серых глазах не ненависть, а то, что было под ней, как под слоем краски проступает рисунок: растерянность человека, который с юности прожил с единственной верой и вдруг обнаружил, что её могут проверить.

— Вы писали: «небрежность подделывателя», — сказала Миранда, указывая пальцем на розу, на её северный луч с лилией, и Эдриан впервые заметил то, чего в пятьдесят втором не стал измерять: лилия смотрела не вдоль меридиана карты, а чуть правее, на несколько градусов. — Мой отец никогда не бывал небрежным. Ни разу. Даже когда ронял чашку, он ронял её так, чтобы она упала на ковёр.

Эдриан хотел возразить и не нашёл слов. Он смотрел на розу, на отклонённый север, на цепочку греческих букв, на оттиск с настоящей меди, и перед ним возникало ощущение, знакомое каждому, кто когда-нибудь ошибался в мелочи, стоившей чьей-то жизни: ощущение, что весь пол комнаты опустился на дюйм.

— Я поеду с вами, — сказала Миранда.

— Это опасно.

— Вчера вас хоронили. Мне кажется, у вас нет права на это слово.

— У меня нет права и на многое другое, — признал он. — Но куда...

— Куда бы вы ни поехали. Вы всё равно опоздаете. Кто-нибудь должен быть вовремя.

Она завязала тесёмки папки, вернула папирус в шкаф и повернула ключ. Затем, не глядя на него, произнесла ровным голосом:

— Есть ещё одна вещь. Отец оставил письмо. Для вас. Запечатанное, в день своей смерти, в ящике письменного стола. Я не читала его. Я не отдам его вам, пока не пойму, что вы этого стоите.

— Я бы на вашем месте тоже не отдал, — сказал Эдриан.

— Я знаю, — ответила Миранда. — Поэтому мы поедем вместе.

В окна комнаты без окон, как ему показалось, всё-таки стукнул дождь. Он не прекращался. Эдриан достал синюю книгу, открыл на странице с утренней записью и, подумав, приписал внизу ещё одну строку: «16 мая. Шесть лет не измерил один градус. Оценка: см. выше, только строже».

Глава 5. Зеркальная медь

Джеральд Лидделл ждал их на ступенях Британского музея в половине десятого утра, в котелке и макинтоше, держа под мышкой картонную папку с надписью «Налоги Дж. Лидделла, 1949–1957» так, как держат бомбу, которую запрещено ронять и неудобно нести. Он пересёк Грейт-Рассел-стрит строевым шагом и вручил папку Эдриану с тем строгим торжественным видом, какой приобретают добродушные люди, когда им поручают тайну.

— Конни сказала, что если с этим что-нибудь случится, она... — Он замялся и, в первый раз за всё время их знакомства, произвёл впечатление человека, который отлично понимает, что именно она сделает. — Она не договорила. Я всю дорогу сидел, прижимая это к груди. Меня дважды спросили, не плохо ли мне.

— Вы поступили безупречно, Джеральд, — сказал Эдриан совершенно искренне. — Налоги ваши в полной сохранности.

— Они всегда в полной сохранности, — вздохнул Джеральд. — В этом их главное несчастье.

Медь лежала там, где её оставила Констанс, между налоговой декларацией за пятьдесят третий год и разъяснением инспектора: в промасленном шёлке, холодная и тяжёлая, как маленькое надгробие. Миранда взяла её первой, поднесла к свету, повернула под углом, который Эдриан сам использовал бы, и пробежала подушечкой пальца по краю, не касаясь штриха. Потом сказала то, чего Эдриан не успел подумать:

— Печатали с неё мало.

Они стояли в музейной лаборатории, в подвале, где пахло едкой кислотой и табаком, и женщина лет пятидесяти в клетчатом халате, представленная как миссис Айви Пенрос, которая заведовала спектрографом и, судя по всему, всеми остальными в комнате, уже полчаса слушала, как два незнакомых человека ведут спор над кусочком металла.

— Штрихи не стёрты, — продолжала Миранда. — Чем больше оттисков, тем мельче рельеф: бумага и ракля стачивают линию. Здесь линия острая, как после первой пробы. Ну, после пятидесяти, не больше. Тираж на несколько десятков экземпляров, а то и меньше. Это не издание для продажи. Это для узкого круга.

— Приятно слышать, — сказала миссис Пенрос, не вынимая изо рта сигареты. — Хоть кто-то в нашей профессии помнит, что бумага тоже уходит. Мне нужна пылинка этого вашего чуда. Вы позволите?

Она соскоблила со скрытого края несколько зёрен меди размером с мак, закрепила на электроде, и спектрограф ответил ей коротким сухим щёлканьем, как будто что-то сглотнул. Для результата требовалось подождать, и Эдриан с Мирандой, договорившись встретиться через два часа, поднялись в Карточную комнату, как называл её весь музей, хотя официальное название было длиннее и нелепее.

Заведовал ею мистер Бэзил Крэнстон, человек сухой, астматический и такой тонкий, что, как говорили, его можно было использовать вместо закладки. Он дышал со свистом, ходил, держась за стеллажи, и знал о картах всё, кроме того, как к ним обратиться по-человечески.

— «Мортуарум», — прохрипел он, прочитав зеркальный оттиск, который Эдриан подсунул ему на листе папиросной бумаги. — «Мёртвых». «Атлас мёртвых широт». Никогда не слышал. Я знаю всех: Блау, Янсониус, Ортелий, Гондиус. Не слышал. Каталог Феллоуза не содержит такого названия. Постойте.

Он потрусил к шкафу с каталогами, достал том в чёрном переплёте и перелистал, шевеля губами. Эдриан, стоя за его спиной, обратил внимание, что на страницах с буквой «А» между двумя соседними номерами не хватало одного: нумерация шла с разрывом, и в разрыв, как в оставленный на столе ломоть, вставлялась пустая линейка.

— Вырезано, — сказал Эдриан.

— Разумеется, нет, — обиделся мистер Крэнстон. — Это просто... — Он помолчал, посмотрел на разрыв, и на лице его проступило выражение человека, который впервые за двадцать лет обнаружил, что в его доме есть комната. — Отсутствует. Аккуратно. Сверху донизу. Кто-то очень старался.

Миранда достала лупу.

— Не вырезано, — сказала она. — Закрашено. Лак наложен тонко. Видите, как блестит? Страница заменена целиком. Подогнана по обрезу. Хорошая работа. Шрифт подобран с точностью до пятого знака.

Эдриан не ответил. Ему вдруг стало холодно, и холод этот имел вполне определённую природу: он узнавал почерк. Не руки, а метода. Много лет назад, в Вестфалии, он и сам однажды заменил одну страницу в учётной книге так, что никто, кроме него, не мог бы отличить подлинную от подделанной, и ему хорошо помнилось, каково это — сидеть в промёрзшей комнате с пинцетом и клеем и чувствовать себя Богом.

— Мистер Крэнстон, — спросил он, — знаете ли вы слово «вигия»?

Старик свистнул и неожиданно оживился.

— Конечно, мой дорогой. Это португальское. На старых португальских картах так называли место, где лоцман увидел или ему показалось, что он увидел, рифы или низкий остров: он ставил значок и писал «вигия», то есть «наблюдение». Подтверждения нет, но предупреждение остаётся. Англичане вместо этого пишут на морских картах «E.D.»: Existence Doubtful, существование сомнительно. До сих пор в Адмиралтействе числится около полутора тысяч таких мест. По большей части их выдумали туман, усталость и ром. — Он закашлялся. — Но иногда они оказываются правдой. Гавайи были «E.D.» двести лет.

Эдриан и Миранда переглянулись.

— «Мёртвые широты», — медленно сказал он. — Места, которых нет. Атлас сомнительных опасностей.

— Зачем?

— Не знаю. Но слушайте: нельзя прятать пустоту. Прячут только то, что есть. Если кто-то составил атлас из мест, которых нет, и потом принял все меры, чтобы страница о нём пропала из каталога Британского музея, то среди мёртвых широт одна непременно жива.

Мистер Крэнстон смотрел на них с тем озарённым ужасом, с каким люди смотрят на заключение врача, которое подтверждает то, чего они давно боялись, но не имели права признать.

— Я бы очень хотел, — сказал он совсем другим голосом, — чтобы вы не говорили мне этого.

В половине первого их позвала миссис Пенрос. Результат был готов, и она несла его на листке, как носят в роддоме новорождённых, с видом одновременно торжественным и вызывающим.

— Шведская медь, — объявила она. — Фалунский рудник, судя по примесям, середина семнадцатого века. Для Амстердама самое обычное дело: шведы тогда снабжали гравёров листом. Доска печатала, в углублениях остатки краски: льняное масло и сажа, как в те времена. Подделка исключена, если, конечно, вы не имеете дело с фальсификатором, у которого был доступ к шведскому руднику XVII века. — Она выпустила дым. — Пилили её в нашем столетии. Мелкозубым полотном, пилой по металлу. Кусок больше, чем вы мне принесли. Остальное где-то есть.

Миранда и Эдриан снова взглянули друг на друга, и на этот раз в их взглядах не было ничего, кроме общего, очень ясного понимания. Где-то в мире существовала целая доска. Её не расплавили, не продали, не выбросили. Её три столетия берегли.

И кто-то только что отпилил от неё кусок.

Гидрографическое управление Адмиралтейства обосновалось в Таунтоне в сорок первом году, спасаясь от бомб, и с тех пор так там и осталось, как остаётся гость, которому из деликатности не говорят, что пора. В понедельник утром Эдриан и Миранда вышли на станции, где пахло мокрым углём и яблоками, и прошли через город, спорящий с собственным климатом, к унылому комплексу зданий на окраине. В одном из них, в комнате с окнами, выходящими на стоянку для велосипедов, хранился Реестр сомнительных опасностей.

Заведовал им мистер Эмброуз Уэлч, человек лет шестидесяти, сухой, прямой, с пальцами, посиневшими от чернил, и привычкой говорить пронумерованными пунктами, как будто каждую реплику заранее вносил в протокол.

— Келл, — повторил он, глядя в посетительский журнал. — Не тот ли Келл, который умер?

— Тот, который не вполне, — ответил Эдриан.

— Понимаю. Позвольте тогда в порядке уточнения. Во-первых, реестр открыт для научных работников по предварительной записи, которой у вас нет. Во-вторых, он закрыт для частных лиц, каковыми, судя по вашему виду, вы являетесь. В-третьих, у меня сегодня нет желания обсуждать это с кем бы то ни было. — Он снял очки, протёр их, снова надел. — В-четвёртых, у меня три года не было посетителей, которым было что-либо нужно, кроме разрешения на фотографирование. Проходите.

Реестр оказался картотекой в сорок ящиков, каждый размером с гроб для небольшой собаки. Карточки были разного возраста и разного почерка: самые старые писались гусиным пером, как заметила Миранда, потрогав край бумаги, остальные сменяли друг друга по мере того, как менялись чиновники, чернила и представления о каллиграфии. Мистер Уэлч выдвигал ящики, читал номера и клал карточки на стол, как опытный крупье.

— Сомнительные опасности для навигации, — объяснял он. — Рифы, банки, острова, о которых кто-нибудь когда-нибудь доложил и которых никто не смог ни найти, ни опровергнуть. Всего одна тысяча четыреста тридцать шесть. Сто восемнадцать подтверждено, из чего вы можете заключить, что люди ошибаются, но не всегда. Пятьсот девяносто одна опровергнута, остальные по-прежнему числятся. «E.D.», «P.D.» — положение сомнительно, «P.A.» — положение приблизительное. Забавная вещь: больше всего ошибок в тех краях, где больше всего пьют.

— Нас интересуют ссылки на утраченные источники, — сказал Эдриан. — «Verhoeven». «Амстердам». Не позже тысяча шестьсот семидесятого.

Мистер Уэлч посмотрел на него поверх очков, и в его лице впервые проступило что-то человеческое: неприязнь профессионала, который готов был поспорить с чем угодно, но не с точностью вопроса.

— Двенадцать записей, — сказал он. — Я не знаю, откуда вы это знаете, мистер Келл, и предпочёл бы не знать. Позвольте.

Он вынул из ящика двенадцать карточек, перевязанных резинкой, и разложил их веером. Все двенадцать были заполнены одной рукой, мелким, острым почерком конца девятнадцатого века, и все двенадцать, под рубрикой «источник», содержали одну и ту же загадочную строку: «Verh. Atl. (утерян); через Livro das Vigias, Арх. Торре-ду-Томбу, Лиссабон. Занесено Дж. Хиллом, 1894».

— Двенадцать опасностей, разбросанных по Атлантике от Азорских островов до экватора, — говорил мистер Уэлч, и каждая цифра в его голосе стояла на своём месте, как солдат в строю. — Ни одна не лежит на судоходных путях. Ни одна не подтверждена. Источник один и тот же и безвозвратно утрачен. Мистер Хилл, судя по заметкам, пытался разыскать «Атлас Верховена», но не преуспел и умер от пневмонии, не оставив продолжателей. Я, признаться, всегда считал эту серию нелепостью. Но нелепость, мистер Келл, при систематичности перестаёт быть нелепостью. Она становится предметом изучения.

— Фонд Ормонда тоже так думает, — тихо сказала Миранда.

Мистер Уэлч слегка шевельнул бровью.

— Фонд Ормонда проявил к этой серии достойный интерес. В пятьдесят пятом году он за свой счёт организовал проверку всех двенадцати положений судном «Меридиан». Во-первых, работа заняла два сезона. Во-вторых, на всех двенадцати точках обнаружена открытая вода, средняя глубина более двух тысяч саженей, ни единой банки, ни одного рифа. В-третьих, все двенадцать записей закрыты. Видите штамп?

На каждой карточке, поперёк строки с положением, стоял красный штамп «CANCELLED. Not existent», с датой: ноябрь 1957. Эдриан взял последнюю карточку, ту, что значилась под номером двенадцать, и прочёл вслух запись, сделанную в конце, свежими чернилами, чьим-то неразборчивым почерком: «Командир судна докладывает: расхождения магнитного компаса до четырёх градусов, отнесено на счёт девиации».

— Это что, необычно? — спросил он.

— Для района, где ничего нет, довольно необычно, — признал мистер Уэлч. — В рапорте штурмана расхождение объяснили плохой компенсацией железа на борту. Штурмана, как мне передавали, уволили. Не из-за компаса, а из-за настойчивости.

Он собрал карточки обратно в резинку, но Эдриан не отпустил последнюю. Двенадцать мёртвых мест, из которых одиннадцать мертвы на самом деле, а одно, должно быть, жило и дышало, и расхождение компаса на четыре градуса было просто пылинкой, но пылинкой из тех, что не случайно оказываются на дне туфли.

— «Livro das Vigias», — сказала Миранда. — Книга вигий. Значит, источник в Лиссабоне.

— Книга вигий хранится в Торре-ду-Томбу, и это всё, что мне известно, — сказал мистер Уэлч. — Я писал туда трижды. В первый раз мне ответили, что книга на реставрации. Во второй — что она не найдена. В третий — что такой книги не существует и никогда не существовало. Подпись была разборчивая: Феррейра. Руй Феррейра, архивист.

Эдриан почувствовал, как в груди у него что-то слегка повернулось, словно ключ в хорошо смазанном замке.

— Вы случайно не знаете, жив ли он?

— Не имею понятия, — сказал мистер Уэлч. — Он писал очень вежливо.

Они расстались с ним у дверей, и Уэлч, нерешительно помедлив, протянул Эдриану руку, чего, как потом выяснилось, не делал уже лет десять.

— Если вы найдёте ту опасность, мистер Келл, — сказал он, — которая на самом деле существует, сообщите мне. Я бы хотел видеть её занесённой в реестр. Во-первых, из соображений науки. Во-вторых, потому что, насколько я могу судить, все остальные тысяча четыреста тридцать пять только и ждут, что кто-нибудь доведёт дело до конца.

На улице шёл дождь. Они ещё не успели спуститься с крыльца, как в нескольких шагах от них, под козырьком автобусной остановки, поднялся со скамьи человек в тёмно-синем плаще, с чёрным зонтом и в новых, теперь уже слегка потемневших ботинках. Эдриан, к собственному стыду, не удивился.

— Мистер Келл, — сказал мистер Прайс с учтивостью человека, который не хочет, чтобы его визит был воспринят как перебранка. — Какая приятная неожиданность. Мисс Гэрроу. Я зашёл в реестр уточнить два номера и увидел вас на пороге. Позвольте принести извинения: накануне, на кладбище, я не представился как следует.

— Вы не представились вовсе, — заметил Эдриан.

— Совершенно справедливо. Моё имя Прайс. Я состою при Фонде. — Он слегка наклонил зонт, чтобы дождь не попал на ступени. — Сэр Лайонел будет в Лондоне в среду и просил меня передать вам приглашение: поужинать с ним в Клубе путешественников на Пэлл-Мэлл,

в восемь. Он надеется, что вы окажете ему такую честь. Он выразил особое желание познакомиться с человеком, чья смерть была объявлена так преждевременно.

— Я мёртв, — сказал Эдриан. — Мёртвые не ужинают.

— Он предвидел это, — ответил Прайс. — И просил добавить, что приглашение распространяется и на мисс Гэрроу.

Они не говорили с ним о Миранде. Они не говорили о ней ни с кем, кроме Констанс, Джеральда и библиотечного сторожа, спавшего над кроссвордом. Эдриан почувствовал, как рука Миранды, стоявшей рядом, медленно сжалась на сумке, и увидел, как нижняя губа её слегка втянулась, словно она прикусила изнутри то, что собиралась сказать.

— Передайте сэру Лайонелу, что мы подумаем, — сказал он.

— Разумеется, — сказал Прайс. — Он будет ждать.

Он ушёл под дождём, не торопясь, и на этот раз Эдриан пересчитал его шаги: двадцать два до угла, и ни разу не обернулся.

— Мы пойдём, — сказал Эдриан, когда фигура в синем плаще скрылась.

— Мы? — переспросила Миранда.

— Мне любопытно, что станет есть человек, который опередил даже мою сестру с соболезнованием. — Он достал из кармана синюю книгу, нащупал карандаш, посмотрел на неё без всякого выражения и сунул обратно. — И нам, видимо, придётся ехать в Лиссабон. Если Руй Феррейра действительно ответил Уэлчу трижды и трижды соврал, значит, у него была причина. Я хотел бы её узнать.

— Мёртвые не ездят в Лиссабон, — заметила Миранда.

— Мёртвые вообще очень ограничены в передвижении, — сказал Эдриан. — Придётся нам обойтись без них.

Глава 6. Ужин с благодетелем

Клуб путешественников на Пэлл-Мэлл был основан в тысяча восемьсот девятнадцатом году людьми, которые объездили полмира и пришли к выводу, что лучшее в путешествиях — возвращение, и с тех пор эта мысль воплощалась во всём: в тяжёлых дверях, не пропускающих шум, в тёмных портретах, не пропускающих ничего другого, в швейцаре, который, не дослушав фамилию, уже смотрел на ваши ботинки. Эдриан, в мятом вельвете цвета высохшей тины, был встречен ими так, как встречают землетрясение: с глубоким профессиональным спокойствием и с еле слышным вздохом.

— Сэр, — сказал швейцар, — простите, но в клубе принято являться в галстуке.

— У меня его нет, — признался Эдриан.

— Для подобных случаев у нас имеется запасной, сэр.

Он достал из ящика под конторкой галстук такого неопределённого цвета, что на нём, как на хорошо воспитанном человеке, не было заметно ни пятен, ни следов чьего-либо прошлого, и повязал его на шею Эдриана собственными руками с равнодушием, какое испытывает бальзамировщик, поправляя покойнику воротничок. Эдриан был ему почти благодарен.

Миранду же, пришедшую с ним и стоявшую рядом в сером пальто, швейцар заметил лишь в конце процедуры и с тем же безупречным спокойствием сообщил, что дамы допускаются в клуб на первый этаж, в малую гостиную, а выше — только по особому разрешению, которого в данный момент нет.

— Клуб путешественников, — сказала Миранда очень тихо, — не пускает путешественницу.

— Мы приносим извинения, мадам.

— Не приносите. Мне ни разу не показалось, что вы виноваты.

Гостиная, куда её проводили, оказалась комнатой с низким потолком и дубовыми панелями, где в камине тлел один-единственный уголёк, а на столе стоял чай, поданный с видом человека, оказывающего большую услугу. Эдриан задержался в дверях и сказал: «Я пошлю за вами, как только выясню, что ему нужно». Миранда, не поднимая глаз от раскрытой на коленях книги, которую она захватила из дома именно на такой случай, ответила: «Если вы не выясните, что ему нужно, я выясню, что нужно мне. Этого достаточно».

Сэр Лайонел Ормонд ждал его на втором этаже, в маленькой столовой с тремя столами, из которых заняты были лишь два, и Эдриан, шагнув через порог, подумал, что представлял себе его совсем иначе. Он ожидал властности, богатой, сытой, привыкшей говорить, не слыша ответа. Вместо этого к нему навстречу поднялся высокий седой человек в безукоризненном сером костюме, с лицом уставшего и очень умного врача, и протянул ему правую руку, а левую, в тонкой замшевой перчатке, оставил сложенной на трости.

— Доктор Келл, — сказал он негромко. — Вы живы. Я не могу выразить, как я этому рад.

— Я тоже, — сказал Эдриан. — Это неожиданно приятно.

Голос у него был мягкий, низкий и очень внимательный, голос человека, привыкшего слушать. Когда они сели, он не стал спрашивать, что Эдриан будет пить: просто сделал знак официанту, и перед ним возник бокал с тем самым красным вином, которое Эдриан давным-давно, до войны, выбрал бы сам, если б мог себе позволить. Себе Ормонд взял стакан воды и, к удивлению Эдриана, почти не притронулся к еде. Он слушал так, словно собеседник был единственным человеком на свете, а все прочие сведения — вторичными.

— Я принёс вам извинения, — сказал он, как только подали суп, — за беспокойство в вашей квартире. Мой человек, к сожалению, не был вежлив. Я распорядился вернуть вам вашу папку.

Он достал из-под стола картонную папку с надписью «ГРЕЧЕСКАЯ КАРТА, 1950–1952» и положил рядом с хлебной тарелкой. Эдриан не прикоснулся к ней.

— Вы сами её не читали?

— Я прочёл. Всё. Дважды. Мне хотелось понять, как человек, который так точно умеет увидеть чужую ложь, не заметил, что именно в ней содержится. — Ормонд слегка улыбнулся. — Нужны были числа на полях, и я их списал. Остальное мне не нужно. Папка ваша.

— А запонка?

— Моего молодого человека очень расстроила её потеря. — Он поднял левую руку, на трости, чуть повернул манжет, и Эдриан увидел на тонком серебряном запястье такой же овал: окружность, роза ветров, поверх неё латинская «М». — Это знак Фонда. «Meridian». Мы даём такие сотрудникам после третьего года службы. Я бы попросил вернуть, если вас не затруднит.

— Охотно, — сказал Эдриан. — После того как вы объясните мне, почему вы написали мне соболезнование двадцатого апреля.

На лице Ормонда не дрогнула ни одна черта. Он только положил ложку на край тарелки так бережно, словно та могла разбиться.

— У меня есть человек в Лиссабоне, — сказал он. — Мы наблюдаем за читальными залами архивов, где хранятся документы, которые могут иметь отношение к нашему поиску. В январе в журнале Торре-ду-Томбу значилось ваше имя, и я, признаюсь, обратил на него внимание: вы автор той статьи, а имя, раз вызвавшее моё внимание, остаётся в нём навсегда. Девятнадцатого апреля мне сообщили из Лиссабона, что в Тежу нашли тело англичанина по фамилии Келл. Я написал соболезнование, не подумав. — Он помедлил. — Это ошибка. Я редко совершаю ошибки такого рода, доктор Келл, и тем более неприятно, что вы вправе увидеть в ней нечто зловещее.

— А тело?

— Руя Феррейру, — сказал Ормонд, и Эдриан впервые за вечер почувствовал, что его собеседник выбрал слова не заранее, — убили не по моему указанию. Не отводите глаза: вы бы увидели, что я лгу. Я не отдавал такого приказа и не желал такого исхода. Я выясню, что произошло. И если кто-то из моих людей превысил полномочия, он ответит.

— Превысил полномочия, — повторил Эдриан. — Утопил шестидесятилетнего архивиста.

Ормонд на секунду закрыл глаза. Когда он открыл их, лицо его было таким серым и усталым, что Эдриан на миг, против собственной воли, ему поверил.

— Давайте поужинаем, — сказал он. — Потом я расскажу вам, чего хочу. А потом вы решите, можно ли мне верить.

За рыбой Ормонд рассказал о «Галкионе». Он делал это без нажима, как рассказывают о давнишнем деле, которое десятки раз пересказано кому-то другому и перестало быть историей, став фактом биографии. Это был лайнер компании «Ормонд-Лайн», шедший в тридцать первом году из Ливерпуля в Буэнос-Айрес, на борту которого, на правах хозяина, плыл отец Лайонела. Ночью, при ясной погоде и исправных приборах, судно налетело на подводный риф у берегов Бразилии. Рифа этого на карте, по которой шёл штурман, не было: вернее, он был, но на одиннадцать миль восточнее, чем в действительности.

— Одна цифра, — сказал Ормонд. — Сорок один вместо тридцати. Сорок лет эту карту переписывали с оригинала, и однажды какой-то чертёжник, уставший или невнимательный, поставил не ту цифру. Погибли четыреста двенадцать человек. Мне было двадцать шесть, и я сидел в ливерпульской конторе, когда пришла телеграмма. С тех пор, доктор Келл, я смотрю на карту иначе, чем вы. Для вас она — документ. Для меня она — свидетельские показания, которые могут оказаться ложными, и от которых зависит, кто доживёт до утра.

Он отодвинул тарелку, к которой почти не притронулся.

— Белое пятно на карте, — сказал он, — это могила, которую ещё не выкопали. Мой Фонд за двенадцать лет снял шестьсот одиннадцать пометок «E.D.». Мы не знаем, сколько судов прошло по безопасным курсам благодаря тому, что на этих местах теперь написана правда, а не предположение. Это и есть самое страшное в моей работе: невозможно пересчитать тех, кого не было среди погибших.

— Бывают места, — сказал Эдриан, — куда лучше не приходить с картой.

— Назовите хоть одно.

Эдриан открыл рот и закрыл его. Он знал, что ответ существует, и знал, что скажи он его вслух, получится банальность: что-то про священные рощи, и сокровища, и людей, которые просили, чтобы их оставили в покое. А Ормонд не был человеком, которого можно было победить банальностью.

— Я не знаю, — признался он. — Пока.

— Вот видите, — мягко сказал Ормонд, и в этой мягкости не было торжества, одна усталая печальная симпатия. — Я не противник тайны, доктор Келл. Но тайна, которая убивает, перестаёт быть тайной. Она становится преступлением.

Он откинулся на спинку стула и продолжил, не меняя интонации, как будто переходил от одного тома к другому:

— У меня есть четыре листа «Атласа мёртвых широт». Номера с первого по четвёртый. Они были изъяты из хранилища, о существовании которого до апреля этого года я, признаюсь, не подозревал. Я не могу их прочесть. Положения, нанесённые на карту обычным способом, указывают на пустое море, точно так же, как прежние двенадцать. Либо это подделка, либо я чего-то не понимаю. А вы, доктор Келл, единственный человек в Европе, который умеет отличать одно от другого.

— Это комплимент?

— Это расчёт. — Он слегка улыбнулся. — Я предлагаю вам место консультанта Фонда. Пять тысяч фунтов в год. Судно, лаборатории, любое содействие. Я не прошу ничего, кроме того, чтобы вы сказали мне, что я держу в руках: подлинник или нет. А потом, если подлинник, мы вместе пойдём туда, куда он ведёт, и, если там действительно настоящая опасность, нанесём её на карту, и ни один человек больше не погибнет на этом месте.

— А если там не опасность?

— Что же ещё?

— Не знаю, — сказал Эдриан. — Остров. Скала. Что-нибудь, чего вы не видели, потому что не искали.

— Тем более, — сказал Ормонд. — Нет на земле такого места, которое не выиграло бы от того, чтобы о нём знали.

Эдриан хотел ответить, но заметил, что Ормонд, не меняя выражения лица, взглянул на часы, а затем снова на него, и поправил что-то на трости, и вся эта цепочка жестов, плавных и добрых, значила: приближается момент, когда любезность кончается. Он не ошибся.

— Я хочу, чтобы вы поняли, в каком положении находитесь, — сказал Ормонд, и голос его не стал ни жёстче, ни тише. — Человек, официально умерший, мало защищён законом, доктор Келл. Его нет в списках, нет в картотеках, нет в страховых полисах. Его легко потерять. Я советовал бы вам не усугублять недоразумение. Я бы не хотел, чтобы ваша смерть перестала быть временной.

Он произнёс это так спокойно и так сочувственно, что на секунду Эдриан не сообразил, что его только что приговорили. Когда сообразил, то обнаружил, что у него в руках салфетка, скрученная в жгут, и осторожно положил её на стол.

— Вы мне нравитесь, сэр Лайонел, — сказал он. — И это худшее, что я могу о вас сказать.

— Вы отказываетесь.

— Я не буду для вас отличать подлинное от поддельного. Не потому что вы лжёте. А потому что, получив подлинное, вы непременно захотите им воспользоваться, и сделаете это с самыми добрыми намерениями.

Ормонд кивнул, как кивают врачи, услышавшие от пациента то, чего ожидали с самого начала.

— Мисс Гэрроу, — сказал он тем же тоном, — дочь человека, которому я обязан больше, чем кажется. Я хотел бы помочь ей, если она позволит. Передайте ей это.

— Она ни в чём не нуждается.

— Все нуждаются в том, что у них отняли, — сказал Ормонд. — Я не злодей, доктор Келл. Я просто не умею прощать неточности.

Эдриан полез в карман, достал серебряную запонку с розой ветров и положил её рядом с хлебной тарелкой.

— Вы объяснили, — сказал он. — Возвращаю.

Он забрал папку, встал, поклонился, чего не делал ни перед кем со школьных лет, и пошёл к двери, зная, что взгляд человека с обожжённой рукой провожает его до самой лестницы.

Миранда ждала в малой гостиной, с книгой, которую не читала. Она ничего не спросила. Они вышли на Пэлл-Мэлл вдвоём, и дождь, словно ему этого и не хватало, пошёл снова.

— Он не ел, — сказала она после долгой паузы.

— И не лгал, — ответил Эдриан. — Это худшее.

Они дошли до угла, когда из тени подъезда соседнего здания выступила фигура с безупречно скатанным зонтом и усами слишком хорошего каштанового цвета.

— Дорогой мой, — сказал Монти, — у вас вид людей, которые проглотили вилку. Не отвечайте. Я член этого заведения с сорок шестого года и сидел в баре, пока вы разговаривали. Ормонд не лжёт, Эдриан. Это самое неприятное в нём. Я пробовал ловить его на лжи с сорок девятого, и мне ни разу не удалось.

Он достал из кармана плотный конверт и протянул Эдриану.

— Завтра утром вам выдадут паспорт, чистый, на имя Эдриана Хью Келла, живого. Форму Р-14 я только что заполнил от вашего имени. Вы, как видите, воскресли официально. Билет на пятницу, девять сорок, в Лиссабон. Министерство будет рассматривать вашу поездку как научную командировку. — Он помедлил. — Не смотрите на меня так. Министерство, разумеется, заинтересовано в том, чтобы человек, умеющий читать подделки, увидел оригинал раньше, чем его получит Фонд.

— Министерство, — повторил Эдриан. — А вы?

— А я, дорогой мой, — сказал Монти, — всегда заинтересован в том, чтобы вы были живы. Это бескорыстно. Это единственное, что я делаю бескорыстно.

Эдриан взял конверт. Он знал, что должен был спросить ещё о многом, и не спросил, потому что в голове у него вертелась одна мысль, которую он никак не мог ни отогнать, ни додумать. Самое неприятное в сэре Лайонеле Ормонде было не то, что он лгал. Самое неприятное было то, что Эдриан не мог найти ни одной точки, в которой тот ошибался. И где-то там, за дверью с тяжёлыми петлями, человек с обожжённой рукой, не прикоснувшийся к ужину, сидел и ждал, пока мир выберет, чью сторону принять.

Глава 7. Пансион «Флор-да-Роза»

Лиссабон встретил их жарой, которой по всем справочникам в мае быть не полагалось, и запахом, который они ещё долго не могли разобрать на составные части: уголь, жареные сардины, нагретый камень, речная вода и что-то цветущее, чему ни Эдриан, ни Миранда не знали названия. Такси ползло от аэродрома вниз, через проспекты, где зелёные трамваи шли, звеня, как перегруженные самовары, и по каждой стене, по каждому забору, по каждому дверному косяку, который не успели вымыть известью, были наклеены плакаты. На одних крупным шрифтом значилось имя адмирала Томаса, кандидата правительства. На других, наклеенных, видимо, ночью и частично уже содранных, — «Дельгаду», и ниже, шёпотом печати, что-то про свободу. Дважды они проехали мимо патруля, и каждый раз таксист, не оборачиваясь, начинал говорить о погоде.

— Они действительно носят чёрное, — заметила Миранда, глядя в окно на женщин на тротуарах. — Все. Даже те, у кого явно нет повода.

— У многих есть, — сказал Эдриан. — Просто он старый.

Пансион «Флор-да-Роза» стоял на крутом переулке в Алфаме, где дома лепились друг к другу так тесно, что бельё, развешанное на улице поперёк, принадлежало, казалось, одновременно трём семействам и ни одному из них. Над дверью красовался бирюзовый изразец с розой, выцветшей до цвета застарелого пятна, и колокольчик, который звякнул, когда Эдриан открыл дверь, с неубедительной бодростью человека, делающего вид, что дела идут хорошо. Из тёмной прихожей пахло кипящим картофелем, мастикой для пола и кошкой.

Дона Эмилия вышла из кухни, вытирая руки о фартук, и остановилась на пороге так резко, что чуть не упала. Это была крупная, прямая женщина лет шестидесяти пяти в чёрном платье, с седым пучком, который подрагивал на затылке при каждом слове, и глазами цвета маслин, видевшими на своём веку слишком много постояльцев, чтобы удивляться.

— Santa Maria, — сказала она. — O inglês do casaco.

— Англичанин с пальто, — перевёл Эдриан вполголоса для Миранды. — Это я. Видимо, так я здесь известен. — И по-португальски, с корвским выговором, который развлекал лиссабонцев не меньше, чем ему доставлял стыда: — Добрый день, дона Эмилия. Я вернулся.

— Вернулись? — Она перекрестилась. — Вы умерли в апреле! Я заказала по вам мессу в церкви Святого Антония! Я поставила свечу! Я заплатила двадцать эскудо, и мне даже не дали сдачи!

— Это недоразумение, дона Эмилия. Мне искренне жаль, что вам пришлось тратиться.

— Двадцать эскудо, — повторила она, и в голосе её зазвучала не обида, а профессиональная скорбь человека, которого обманули, но чьё право на скорбь от этого не уменьшилось. Потом она посмотрела на Миранду и добавила уже совсем другим тоном: — А эта сеньора — ваша жена?

— Нет, — сказали они в один голос.

— Жаль, — сказала дона Эмилия без малейшего выражения.

Комнату им дали не его прежнюю, потому что январскую, как выяснилось, уже заняла какая-то немецкая пара, а две другие, маленькие, на втором этаже, с окнами во двор, где росла пальма в бочке и сушились чьи-то рубашки. Пока дона Эмилия вела их вверх по скрипучей лестнице, Эдриан, не желая терять времени, задал вопрос, ради которого, по существу, и приехал:

— Расскажите мне о Руе Феррейре.

Она остановилась на повороте лестницы, ухватившись за перила.

— Руй, — произнесла она. — Бедный Руй.

И заговорила, быстро, без остановки, мешая португальский с английским, который выучила, по её словам, от многих постояльцев и никогда не стыдилась. Руй Феррейра жил в пансионе двадцать три года. Вдовец. Жена умерла от туберкулёза в тридцать девятом, детей не было. Каждый день ходил в «Башню» (Эдриан понял: Торре-ду-Томбу) и возвращался к шести. Ел мало. Читал много. По воскресеньям покупал у цветочницы на Ларгу-даш-Порташ-ду-Соль три гвоздики и клал их на стол в кухне, и дона Эмилия ни разу не спросила, для кого. Он никогда не жаловался и никогда не опаздывал. Он был, по её словам, единственным постояльцем, который за двадцать три года ни разу не оставил после себя ничего.

— Кроме пальто, — тихо сказала она. — Нет. Это ваше было, сеньор. Он надел ваше. Я видела, как он уходил в тот вечер, восемнадцатого апреля. Он сказал: «Дона Эмилия, англичанин не придёт за ним». И я не поняла, а он ушёл. Больше я его не видела. Потом пришла полиция.

— Полиция?

— Не простая. Из тех, в штатском. — Она произнесла это слово, понизив голос, как называют болезнь, которую нельзя произносить вслух. — Они перерыли комнату. Всё. Забрали бумаги, книги, даже подушки вспороли. Потом пришёл человек из консульства, англичанин, в очках, вежливый, и спросил про Келла. Я сказала, что Келл жил здесь в январе. Он записал. Спросил, остались ли его вещи. Я сказала: есть чемодан и ящик. Тогда он сказал, что отправит их родственникам.

— И отправил?

— Ещё нет. Я не успела. — Она нашла наконец способ изобразить смущение. — Вы понимаете, сеньор, когда человек умирает, мы кладём его вещи в ящик. В «caixa dos defuntos». Он в подвале. Я никому не показываю: это как святое. Ни полиция, ни консул туда не заглядывали. Кто станет искать что-либо в вещах покойника?

Эдриан и Миранда посмотрели друг на друга.

— Никто, — сказал Эдриан. — Совершенно никто.

«Ящик покойников» стоял в дальнем углу подвала между бочкой с позеленевшей водой и грудой пустых бутылок, и дона Эмилия, ведя к нему гостей со свечой в руке, двигалась с такой торжественностью, словно вела их к раке с мощами. Это был огромный чёрный сундук, окованный железом, с белым крестом, нарисованным на крышке масляной краской, и надписью, начертанной каллиграфическим почерком: «Aos que partiram. Ao cuidado de Deus». «Ушедшим. Под опеку Бога».

Внутри лежало тридцать лет чужих жизней. Эдриан, привыкший к раскопкам, всё же замер, когда крышка поднялась: капитанская подзорная труба в чехле, набор очков в медной коробке, пять трубок, чучело птицы с обломанным клювом, пачка писем, перевязанная женской лентой, ордена, зубной протез, патефонные пластинки, молитвенники на трёх языках. Дона Эмилия называла каждого, показывая на вещи: этот капитан, этот учитель, этот тот самый, что выпил не то, а это, ах, бедная сеньора Консейсан, у неё был такой красивый голос.

Эдриан узнал свой чемодан сразу, потому что узнал бы его с закрытыми глазами: потёртый, с погнутым углом и верёвкой вместо замка. Рядом стоял деревянный ящик с книгами, и в нём, под томом Дугласа Райта по Азорам и вторым выпуском «Вестника северных морей», лежала синяя бухгалтерская книга, которую он считал утерянной три месяца назад: первый том «Ошибок», 1946–1955. Эдриан, вопреки здравому смыслу, почувствовал облегчение, более глубокое, чем при виде паспорта.

— Что это? — сказала Миранда.

Она показывала на что-то, лежавшее поверх книг: тонкий конверт из коричневой бумаги, незапечатанный, с лёгким следом пальца на углу. На конверте, по-английски, чётким архивным почерком с наклоном влево, было написано: «To the Englishman who will arrive late».

— Я этого не клала, — сказала дона Эмилия, явно собираясь перекреститься и не решаясь. — Я никогда не кладу в ящик ничего, чего не знаю.

— Руй, — сказал Эдриан. — В апреле, до того как ваш ящик закрыли. Он спускался в подвал за углём?

— Он часто спускался за углём. Я не обращала внимания.

Он взял конверт. На ощупь он был тоньше, чем ожидалось, и внутри, как оказалось, лежал единственный лист, исписанный с обеих сторон тем же аккуратным почерком. Эдриан отошёл к свече и стал читать вслух, переводя для Миранды то, что не требовало перевода, потому что письмо было написано по-английски: рукой образованного человека, который выучил язык по книгам и потому владел им лучше многих, для кого он родной.

«Господину, который опоздает.

Дорогой доктор Келл, если вы читаете это, значит, я был прав, предположив, что вы опоздаете, и неправ, предположив, что я останусь жив. Прошу извинить мой английский: я учил его по Диккенсу и лоциям Адмиралтейства, и потому он пригоден для описания тумана и банкротств.

Вы, вероятно, уже догадались, что я воспользовался вашим именем и вашим пальто. Простите. В моём положении почта к живым вскрывается, а почта к мёртвым — нет, и я хотел, чтобы то, что я зашил в подкладку, дошло до вас, а не до тех, кто был бы счастлив это получить.

Я не знаю, кто вы. Я знаю, что в январе вы дважды заказывали в читальном зале „Книгу вигий“, и дважды я отвечал, что такой книги нет. Вы не обиделись. Вы написали на бланке заказа вопрос: „Если книги нет, кто её переплетал?“ За сорок лет работы это был единственный вопрос, который мне задали по существу. Я решил, что вы тот, кто мне нужен.

Вам понадобится Беатриш Салданья, гидрограф. Она вам не поверит. Скажите ей: Руй просил передать, что он был прав насчёт четырёх градусов. Не ходите в Башню одни. Не верьте тем, кто вежлив с мёртвыми.

И, прошу вас, не беспокойтесь о моей судьбе. Я прожил долго, любил одну женщину и составил один каталог. Это больше, чем удаётся большинству.

Р. Ф.

P.S. Ваше пальто невыносимо, но очень тёплое».

В подвале стало тихо. Дона Эмилия тихо плакала в фартук, не стыдясь, как плачут люди, у которых было слишком мало поводов для слёз, чтобы тратить их на приличия. Миранда стояла очень прямо, сцепив руки, и Эдриан, пряча письмо в карман, понял, что не хочет смотреть на неё, потому что на её лице было то же самое, что он испытывал сам: странное, неуместное чувство, будто их, двоих незнакомых людей, только что представили человеку, которого уже нет.

— Четыре градуса, — произнесла она наконец. — Расхождение компаса. В рапорте «Меридиана». Вы видели его в Таунтоне.

— Видел. И Руй знал о нём. — Эдриан прислонился к бочке. — Либо читал рапорт, либо его составил. Значит, с командиром судна, а скорее всего со штурманом, которого уволили за настойчивость, Руй был знаком. Или с кем-то, кто был знаком со штурманом. И эта Салданья, видимо, знала их обоих.

— Значит, расхождение не случайность.

— Значит, кто-то ещё три года назад задал тот вопрос, который мы только сегодня начали формулировать. И его за это уволили.

Они поднялись из подвала, и дона Эмилия, вытерев глаза углом фартука, с неожиданным достоинством потребовала, чтобы Эдриан немедленно заплатил за апрель и за ящик, поскольку покойники, а особенно те, кто возвращается, обязаны вести себя прилично. Он заплатил, сумма была невелика, и она взяла деньги не считая. А у выхода, придержав его за рукав, сказала по-португальски, не поднимая головы:

— Тот человек на углу, с газетой. Он тут с понедельника. Он не наш. Не оглядывайтесь, сеньор. Они всегда сразу видят, когда оглядываются.

Эдриан не оглянулся. Он вышел на тёплую, пахнущую жареными сардинами улицу, и краем глаза увидел напротив, в тени тента маленького кафе, человека в сером шлеме шляпы, с «Диарио де Нотисиаш» в руках, который читал её с таким усердием, что газета, строго говоря, не должна была им понимать.

— Гидрографическая служба, — сказал он Миранде вполголоса, на английском, чтобы человек с газетой, если у него хватит образования, получил хотя бы часть удовольствия. — Здание у Морского арсенала. Завтра с утра. Сегодня мы идём гулять по Лиссабону и показываем ему Алфаму. Нет более страшного наказания для человека в сером, чем неделя лиссабонских ступенек.

Миранда посмотрела на него, на улицу, на человека с газетой и впервые за всё время, что Эдриан её знал, чуть заметно улыбнулась.

Глава 8. Гидрограф

Человек в сером продержался до вечера, что делало честь его выносливости и ничего не говорило о его способностях. Эдриан водил его по Алфаме так, как водят экскурсию для особо ценных гостей: вверх по лестнице Святого Мигела, вниз по переулку, где на каждом пороге сидела женщина с ощипанной курицей на коленях, через двор, где между двумя бельевыми верёвками помещались и церковь, и кладбище кошек, и опять вверх, с остановкой у каждого вида на Тежу. К шести часам человек в сером вспотел, потерял газету и перестал делать вид, что читает; к семи он сидел на ступеньках у Ларгу-даш-Порташ-ду-Соль и пил воду из бутылки, которую ему вынесла жалостливая старуха. Эдриан поклонился ему издалека, как кланяются хорошему противнику, и ушёл ужинать.

Утром же, ровно в девять, он стоял с Мирандой перед серым зданием у Морского арсенала, где на стене под флагом висела бронзовая табличка с названием, которое Эдриан перевёл как «Гидрографические службы военно-морского министерства», и пытался придумать, как объяснить вахтёру, что ему нужна женщина, которая, по всей вероятности, не желает его видеть.

Как выяснилось, придумывать ничего не требовалось. Вахтёр, пожилой человек с усами цвета застарелого табака, выслушал фамилию, посмотрел на Эдриана, на Миранду, на небо и произнёс: «Салданья принимает по четвергам». Сегодня была суббота. Тогда Эдриан достал из кармана записку, развернул так, чтобы видна была только одна строка, и произнёс, тихо, но отчётливо, по-португальски:

— Руй просил передать, что он был прав насчёт четырёх градусов.

Вахтёр не изменился в лице. Он только встал, надел китель, который висел на спинке стула, и сказал: «Второй этаж, налево. Дверь без таблички».

Комната на втором этаже оказалась длинной, светлой и почти аскетической: три больших окна на реку, на подоконниках настольные барометры и две зелёные лампы, на стенах морские карты, приколотые так плотно, что за ними нельзя было разглядеть штукатурку. На столе у окна стоял арифмометр «Брунсвига», огромный, как швейная машина, рядом чернильница, в которой, казалось, давно не было чернил, и пепельница, в которой сигарилльо, не докуренное, дымилось очень тонкой, очень прямой струйкой. За столом сидела женщина лет тридцати четырёх, смуглая, коротко стриженная, в сером платье, застёгнутом до самого горла, и смотрела на дверь так, как смотрят на прибор, показания которого вызывают недоверие.

— Не совсем так, — произнесла она по-английски вместо приветствия.

— Простите?

— Вы сказали «четыре градуса». Не совсем так. Три целых восемь десятых. Но Руй округлял, когда говорил с людьми, которых считал недостаточно точными. — Она загасила сигарилльо, хотя оно дымилось едва ли в четверть. — Вы не доктор Келл.

— Я доктор Келл.

— Доктор Келл мёртв. Я знаю это совершенно точно, потому что сама сообщила об этом англичанам.

Эдриан поставил рюкзак на пол, придвинул стул, не дожидаясь приглашения, и сел напротив. Он сделал это не из дерзости, а потому, что почувствовал: сейчас ему нужно оказаться на одном уровне с этой женщиной, и любая поза, кроме равной, будет воспринята как ложь.

— Вы звонили в консульство. В апреле. Дама с португальским акцентом.

Она не ответила, и это было красноречивее любого признания.

— Руй оставил вам записку, — продолжал он. — «Если со мной что-то случится, сообщите англичанам, что умер Келл». Вы не знали, зачем. Вы просто сделали, как он просил.

— Он был моим другом, — сказала она, и на последнем слове голос её впервые дрогнул, как дрожит на ветру нить, натянутая слишком туго. — Я считала, что обязана. И потом я два месяца не могла понять, чьё имя назвала и кого убила.

— Никого, — сказал Эдриан. — Я здесь.

— Это не значит, что я никого не убила. — Она посмотрела на него прямо. — Это значит, что я убила кого-то другого и заодно воскресила вас. Что хуже.

Миранда, стоявшая у двери и до сих пор молчавшая, сделала шаг вперёд.

— Я Миранда Гэрроу, — сказала она. — Реставратор бумаги. Я прочла письмо. Оно подлинное, у меня достаточно опыта. И я не думаю, что вы убили кого-то, мисс Салданья. Я думаю, что вы выполнили последнюю просьбу друга. Это не преступление, это обязанность.

Беатриш Салданья перевела взгляд с Эдриана на Миранду и обратно, и что-то в её лице, неуловимо, но заметно, сместилось, как смещается стрелка, когда рядом проходит магнит.

— Хорошо, — сказала она. — Дайте письмо.

Она читала его дважды. Читала не как письмо, а как документ: сначала по строкам, потом поперёк, потом на свет, потом, достав лупу из ящика, водила ею по краям листа, как делал бы Эдриан. Когда она закончила, лицо её было спокойным, а глаза сухими, и Эдриан понял, что это спокойствие стоило ей больше, чем слёзы.

— Почерк его, — сказала она. — Бумага из его стола. Он писал на такой тридцать лет, потому что другой не терпел. — Она сложила письмо по сгибам и протянула обратно. — Я не сеньорита, доктор Келл. Не называйте меня так. Меня зовут Беатриш, а когда мне нужно подчеркнуть, что я говорю серьёзно, — доктор Салданья, хотя это звание мне формально не положено. Я не позволю женщине, которая два года таскала на себе все расчёты этой службы, остаться «сеньоритой». Это ясно?

— Совершенно, — сказал Эдриан.

— Хорошо. Тогда смотрите.

Она встала, подошла к стене и, к удивлению Эдриана, отодвинула большую карту Тежу вместе с кнопками и булавками, как отодвигают занавес. За ней висел лист кальки, прикреплённый по углам кнопками, и на нём в карандаше, тонким, аккуратным, очень методичным почерком были нанесены точки: сотни точек, десятки сгустков, разрозненные линии и шесть концентрических дуг, проведённых циркулем.

— Руй составил список, — сказала она, — а я нанесла его на карту. Двести пятьдесят восемь судов, пропавших без вести или погибших при невыясненных обстоятельствах в Атлантике между тысяча семисотым и тысяча девятьсот пятьдесят седьмым годом, по сводкам «Ллойда». Это не все. Только те, для которых указана последняя известная позиция. Красные точки — парусные. Синие — паровые. Видите?

Эдриан видел. Точки не лежали случайно. Они не рассыпались по Атлантике, как рассыпаются по морю жертвы шторма; они тянулись широкой, рваной, но неуклонной дугой, как след от разбрызганной краски на круглой тарелке, вокруг пустого места. Пустое место располагалось южнее Азорских островов, западнее Кабо-Верде, на несколько градусов севернее экватора, и в нём не было ни одной точки.

— Корабли не тонут в центре, — сказала Беатриш. — Они не тонут и рядом с ним. Они пропадают на определённом расстоянии, как будто что-то заставляет их отклоняться, а потом, потеряв ориентацию, они идут не туда. — Она провела пальцем по дуге. — Я не знаю, что в центре. Я знаю, что туда никто не возвращался и никто не доходил. Это не одно и то же.

— Диаметр круга?

— Не круг. Область. С запасом в двести миль в любую сторону. — Она опустила руку. — Я не могу назвать вам точку, доктор Келл. Это не точка. Это регион размером с Францию, в котором, возможно, что-то есть.

— Магнитная аномалия, — сказала Миранда.

Беатриш повернулась к ней с выражением человека, которому в чужом доме подали его любимое блюдо.

— Это моя гипотеза, — сказала она. — Четыре градуса в рапорте «Меридиана» — три целых восемь десятых, подчеркну — на расстоянии, на которое я не имею права так рассчитывать. Если расхождение в таком месте достигает таких величин, то в центре оно должно быть чудовищным. Корабли, идущие по компасу, уходят с курса, и никто не знает почему.

Эдриан смотрел на кальку и думал о том, что за один день узнал о сомнительных опасностях Атлантики больше, чем за всю предыдущую жизнь. Две женщины, не знакомые друг с другом полчаса назад, стояли по обе стороны от него, и каждая видела на этой карте то, чего не видела другая. Ему стало ясно, что его роль здесь не центральная и что роль, пожалуй, не обидная: не охотник, а переводчик.

В дверь постучали. Не вахтёр, не секретарь, не кто-либо из коллег: стук был вежливый, размеренный, троекратный, как у человека, привыкшего, что его ждут, и не желающего этого подчёркивать.

— Войдите, — сказала Беатриш, и Эдриан заметил, как она, не торопясь, задвинула большую карту Тежу обратно на кальку.

Вошёл худой человек лет пятидесяти, в тёмно-синем костюме, при галстуке, с аккуратными усиками и лицом, на котором безукоризненная любезность лежала так ровно, будто была нанесена по линейке. За ним, потупившись и держа шляпу в руках, переминался вчерашний человек в сером, у которого, как успел заметить Эдриан, на пятках через носки проступили две подушечки лиссабонских мозолей. Вошедший остановился на пороге, окинул комнату быстрым внимательным взглядом, задержавшись на закрытой карте Тежу, и сказал на очень чистом английском, с лёгким ливерпульским оттенком:

— Доктор Салданья, мне искренне неприятно вас беспокоить. Мистер Келл, мисс Гэрроу. Меня зовут Алвеш. Я состою в Международной и государственной полиции безопасности, и это название, к сожалению, звучит страшнее, чем моя работа.

— Нас предупреждали, что вы придёте, — сказал Эдриан, потому что молчать было бы ещё менее разумно.

— Не думаю, мистер Келл. Но вы, несомненно, это предвидели. Вчерашняя прогулка по Алфаме была великолепна. Агостиньо до сих пор под впечатлением. — Он слегка склонил голову в сторону человека в сером, который, судя по лицу, предпочёл бы оказаться под впечатлением чего-нибудь другого. — Я хотел бы пригласить вас на кофе. Здесь, в двух шагах. Если у вас есть время.

Он произнёс это так, что слово «если» прозвучало почти как насмешка над собственным существованием. Эдриан открыл рот, но Беатриш его опередила.

— Я пойду с ними, — сказала она. — Я служащая министерства, инспектор. Мистер Келл не говорит по-португальски так, чтобы это не вызывало подозрений. Моё присутствие вполне разумно.

— Совершенно разумно, — согласился Алвеш. — Мисс Гэрроу подождёт здесь. Вахтёр, насколько я знаю, готовит прекрасный кофе.

Кофе в служебном кабинете инспектора Алвеша на улице Антониу-Мария-Кардозу оказался действительно превосходным, и Эдриан, сидя на жёстком стуле перед пишущей машинкой «Ундервуд», под портретом сухого человека в чёрном, смотревшего на посетителей без малейшей доброжелательности, подумал, что в одном этот город выучился не лгать: в кофе. Беатриш сидела рядом, прямая, как карандаш, и пила не торопясь, глядя перед собой.

— Мистер Келл, — начал Алвеш, листая тонкую папку. — Вы умерли в апреле. Затем, двадцать второго мая, вам выдали в Лондоне новый паспорт на основании формы, которую в нашем министерстве именуют «возвращением из небытия» и которая оформляется, насколько я знаю, не менее двух месяцев. Вам её оформили за сутки. Это впечатляет.

— У британской бюрократии, — сказал Эдриан, — бывают приступы вдохновения.

— Не сомневаюсь. — Алвеш закрыл папку. — Я не буду утверждать, что за вами стоит британская разведка. Я не стану этого утверждать, потому что мы с вами оба понимаем, что утверждать нужно только то, что можно доказать. Я скажу другое. Сеньор Руй Феррейра работал в Национальном архиве сорок один год, и мы наблюдали за ним последние три месяца. Не потому, что подозревали его. Потому что им интересовались иностранцы.

— Какие?

— Разные. — Он улыбнулся, не показывая зубов. — В архиве Торре-ду-Томбу хранятся документы, которые для Португалии дороже золота: договоры, границы, грамоты. Каждый год кто-нибудь является с благородной целью их изучить. Мы привыкли. Но в этом году на сеньора Феррейру вышел человек, не принадлежавший ни к одному учреждению. Он назвал себя представителем фонда. Очень вежливый. Очень молодой. В очень чистых ботинках.

Эдриан почувствовал, как Беатриш чуть заметно повернулась к нему.

— В ночь с восемнадцатого на девятнадцатое апреля, около полуночи, сеньор Феррейра упал с набережной у Кайш-ду-Содре, — продолжал Алвеш. — Рыбак, который чинил сети на причале, видел двух мужчин. Оба в тёмных плащах. Один из них, по его словам, был, цитирую, «слишком чистым для этого места». Через два дня по распоряжению свыше дело закрыли как несчастный случай. Свыше, мистер Келл, означает не моё начальство. Оно означает кого-то, кто может позвонить моему начальству.

— И вы недовольны, — сказал Эдриан.

— Я не люблю быстро закрытые дела. Они напоминают мне незапертые двери. — Он повернулся к Беатриш. — Доктор Салданья. Ваш отец был лоцманом в Сезимбре. Ваш дядя Томаш в тысяча девятьсот тридцать шестом провёл полгода в тюрьме Алжубе. Вы окончили математический факультет с отличием и три года пытались получить должность, которую в итоге получил ваш менее способный однокурсник. Я знаю это не потому, что хочу вас напугать. Я знаю это, потому что это моя работа, и мне казалось честным, чтобы вы услышали это от меня.

Беатриш сидела неподвижно. Ни один мускул не шевельнулся у неё на лице, но Эдриан видел, как её пальцы, лежавшие на коленях, медленно переплелись, словно удерживали друг друга.

— Я понимаю, инспектор, что вам нет нужды меня пугать, — сказала она негромко и совершенно ровно. — Поэтому я не стану лгать. Я помогала Руи Феррейре. Он был моим другом. Я собираюсь помочь тем, кого он выбрал. Если это преступление, вы знаете, где меня искать.

Алвеш помолчал. Потом произнёс то, чего Эдриан от него совсем не ждал:

— Ваш друг не был врагом государства, доктор Салданья. Он был чем-то хуже. Он был человеком, который любит бумаги больше, чем государство. — Он достал из ящика визитную карточку и положил на стол перед Эдрианом. — Я не прошу вас доносить. Я прошу вас не умирать в моём городе. Это портит статистику. Если когда-нибудь вам понадобится, чтобы кто-то выяснил, кто звонил моему начальству, — позвоните по этому номеру. Если вам понадобится кого-нибудь убить — не звоните.

На улице было жарко и пахло пылью с изнанки трамвайных проводов. Беатриш остановилась на тротуаре, прислонилась спиной к стене какого-то банка и несколько секунд просто стояла, закрыв глаза, как стоят люди, которые много часов не выдыхали.

— Он ждал, что я испугаюсь, — сказала она, не открывая глаз.

— Вы испугались.

— Конечно. Но он ждал, что я это покажу. — Она открыла глаза, и в них, к удивлению Эдриана, не было слёз, а только тёмная, очень ясная ярость. — Ладно. Я должна изложить условия.

Они сели в кафе на площади, где Миранда уже ждала с бокалом воды и книгой, которую по-прежнему не читала. Беатриш достала блокнот, вырвала из него лист, расчертила на четыре графы и написала, не поднимая головы, тем же чётким, архитектурным почерком, каким была исписана калька на стене:

— Первое. Все измерения, полученные в ходе работы, принадлежат мне. Второе. Я не отвечаю за ваши решения и не обязана их одобрять. Третье. Я оставляю за собой право уйти и унести то, что принесла. Четвёртое. Если мы найдём то, что искал Руй, я хочу быть там. Пятое. Никто не называет меня сеньоритой.

— Приняты, — сказал Эдриан.

— Это не союз, — заметила Миранда, прочитав лист через плечо. — Это контракт.

— В моей стране, — ответила Беатриш, не поднимая глаз, — это одно и то же.

Она подписала лист. Эдриан подписал рядом. Миранда посмотрела на них обоих долгим, взвешивающим взглядом, достала из сумки карандаш и, помедлив, поставила третью подпись, с таким видом, будто присоединялась не к соглашению, а к заговору.

— В понедельник с утра — в Башню, — сказала Беатриш. — Дона Консейсан не любит, когда её тревожат без предупреждения. Но я помню, где у неё слабое место. Оно в чернильном шкафу.

Глава 9. Читальный зал

Национальный архив Португалии занимал с середины прошлого столетия, как объяснила Беатриш по дороге, одно крыло дворца Сан-Бенту, в другом крыле которого заседал парламент, так что над головами читателей в дни сессий раздавались шаги депутатов, обсуждавших то, что уже давно было решено, а под ними, в подвалах, лежали бумаги, объяснявшие, почему это решение пришло к ним в голову. Эдриан отметил, что в этом соседстве есть что-то поучительное: власть, пытающаяся говорить громко, и память, терпеливо хранящая записи о том, что она говорила в прошлый раз.

Читальный зал находился на втором этаже и поразил его не размерами, а тишиной: высокие своды, длинные дубовые столы с зелёными лампами, подвязанные тесьмой фолианты, шелест страниц, под которым слышалась какая-то непрерывная, почти музыкальная нота, то ли сквозняк, то ли дыхание сорока человек, старавшихся дышать как можно менее заметно. За стойкой в глубине, под тусклой лампой, сидела женщина, которую Эдриан запомнил ещё с января, потому что она тогда отказала ему в трёх запросах подряд с таким достоинством, будто делала ему одолжение.

Дона Консейсан была невысока ростом, суха и прямая, с седыми волосами, убранными в узел такой строгости, что ни одна прядь не посмела бы нарушить его, и с пенсне на шнурке, сквозь которое смотрела на посетителей, как смотрит на предмет под стеклом энтомолог, подозревающий, что это не тот вид. Пальцы её были изъедены чернилами до самых запястий. На столе стояли песочные часы, печать, чернильница и фотография в чёрной рамке, обращённая к ней, а не к читателям.

— Сеньор Келл, — сказала она, не повышая голоса. — Мне сообщили, что вы умерли.

— Это недоразумение.

— Я так и думала. — Она не улыбнулась. — Вы второй раз приходите в мой зал с вопросом, который невозможно задать вежливо. Прошлый раз мне пришлось отказать. Руй попросил меня отказать. Теперь Руя нет.

Она посмотрела на Беатриш, и взгляд её чуть смягчился на долю секунды, которую Эдриан заметил только потому, что ждал.

— Беатриш. Дитя моё. Вы не были на прощании.

— Не было прощания, дона Консейсан, — тихо ответила Беатриш. — Не было ничего. Тело отправили в Англию под чужим именем. Мы теперь пытаемся выяснить, зачем.

Дона Консейсан сняла пенсне и очень медленно протёрла его краем рукава.

— Я знаю, — сказала она. — Я тоже хотела бы знать. Но мне нельзя. Мне нельзя ничего, что может не понравиться людям из министерства. У меня трое внуков и пенсия.

Беатриш, не отвечая, достала из сумки небольшой флакон тёмного стекла, обёрнутый в плотную бумагу, и положила его на стойку, рядом с чернильницей, в которой чернила за десятилетия превратились в блестящую корку. Эдриан не сразу понял, что произошло. Он увидел только, как дона Консейсан замерла, как будто в комнате неожиданно выключили свет.

— Это, — произнесла она.

— Последний флакон, — сказала Беатриш. — Он держал его в нижнем ящике стола, в моей лаборатории. Говорил, что вы умеете читать чернила на вкус.

— Я умею. — Голос доны Консейсан, до этого сухой и ровный, как лист пергамента, вдруг слегка сломался. — Это его лиловое. Железо-галловое. Он делал его сам, по рецепту, который никому не давал. Я двадцать лет просила, чтобы он поделился. Он говорил: «Дона Консейсан, у каждого человека должен остаться хоть один секрет, иначе нечему будет умирать вместе с ним».

Она взяла флакон обеими руками, как берут новорождённого, поднесла к лицу, прикрыла глаза, и несколько секунд никто в зале, ни Эдриан, ни Миранда, ни даже сорок читателей, пытавшихся не дышать, не двигался. Потом она открыла глаза, снова надела пенсне, и перед Эдрианом снова оказалась архивист: строгая, собранная, с лицом, на котором нельзя было прочесть ничего, кроме готовности отвечать за последствия.

— Руй просил меня, — сказала она по-английски, очень тихо, так, чтобы слышали только они четверо. — Если когда-нибудь придёт англичанин, который спросит, кто переплетал книгу, которой нет, показать ему переплёты. Не названия. Не описи. Переплёты. Он сказал: «Он поймёт».

— Я понимаю, — сказал Эдриан.

— Идёмте. Не все вместе. Вы, сеньор Келл, пройдёте в хранилище с доктором Салданья, как приглашённые эксперты. Мисс Гэрроу останется в зале, и если у неё будет вопрос, пусть задаст его читателю, а не мне. — Она встала, достала из ящика связку ключей, звякнувшую как вязанка колокольчиков, и добавила, уже обращаясь ко всем: — Если кто-нибудь спросит, мы просматриваем новые поступления.

Миранда осталась за дальним столом, раскрыв перед собой наугад взятый том, и в течение всех последующих двух часов Эдриан, мельком оглядываясь на неё, видел, как она переворачивает одну и ту же страницу, не читая. Она была единственным человеком в зале, чьё присутствие там не вызывало подозрений: женщина, привыкшая к бумаге, терпеливая, углублённая в чтение. Эдриан впервые подумал, что в её лице есть что-то общее с доной Консейсан: та же выучка, та же закрытость, то же умение смотреть так, чтобы взгляд не мешал.

Они спустились по винтовой лестнице, пахнущей кошками и пылью, в хранилище, где на километры вглубь тянулись стеллажи, и где, как с тихой гордостью заметила дона Консейсан, лежало сорок тысяч томов, из которых Руй, по её счёту, знал наизусть не меньше половины.

Хранилище было таким, каким Эдриан представлял себе рай: бесконечные железные стеллажи под низкими сводами, тусклые лампочки на шнурах, запах старой кожи и бумажной пыли, и тишина, в которой слышалось только собственное дыхание да скрип трёх пар подошв. Дона Консейсан толкала перед собой тележку с лампой и дубовой лесенкой и называла коридоры по номерам, как улицы города, который знала лучше, чем свой собственный. Через двадцать минут Эдриан понял, что без неё он не нашёл бы выхода до вечера.

— Руй хранил свои переплёты в этом ряду, — сказала она, останавливаясь. — Бумаги Заморского совета за тысяча шестьсот пятьдесят четвёртый год и позже. Двадцать два тома. Я не знаю, какой именно. Он никогда не говорил.

— Не нужно знать, — сказал Эдриан. — Достаточно смотреть.

Он стал вынимать тома один за другим, не раскрывая, и каждый поворачивал к лампе корешком вниз. Беатриш, державшая лампу, молча наблюдала. Двадцать два тома лежали перед ним, одинаковые, как однополчане: тёмная телячья кожа, золотое тиснение, потёртые уголки. Он не читал названий. Он смотрел на нижний обрез, туда, где на «хвосте» корешка видны концы ниток, которыми сшиты тетради.

— Что вы ищете? — спросила Беатриш.

— Ступеньку. С петлёй. — Он провёл пальцем по нижнему краю очередного тома. — Тот, кто зашивал мне подкладку, привык к определённому узлу: тройной, с закрепляющей петелькой, какую мастера делают на корешках, когда хотят, чтобы шов пережил владельца. Это не приём, а привычка руки. Такая же, как почерк. Человек может изменить почерк, но узел он завяжет так, как привык.

Он вынул пятнадцатый том, шестнадцатый, семнадцатый. На семнадцатом остановился. На «хвосте» корешка, в самой нижней точке, там, где ткань чуть-чуть обнажила нитки, виднелась крошечная вощёная ступенька с маленькой, аккуратной петлёй.

— «Регимент даш Монсойнш, тысяча шестьсот шестьдесят пятый год», — прочла дона Консейсан надпись на корешке и подняла брови. — Правила муссонных рейсов. Самая скучная книга в этой комнате. Её никто не открывал со времён Салазара... — Она запнулась. — Простите. Со времён Пиома.

Эдриан открыл том. Первые двенадцать листов действительно содержали муссонные предписания для флотов, идущих в Гоа: даты отправления, ветры, дозволенные грузы, штрафы за несоблюдение. Но на тринадцатом листе бумага менялась: чуть светлее, чуть плотнее, с иным нажимом пера, и заголовок, выведенный каллиграфически, гласил: «Relação das vigias reportadas por pilotos da Carreira, 1654–1665». «Перечень вигий, о которых доложили лоцманы Рейса».

Он читал, не торопясь, ведя пальцем по строкам. Двенадцать записей. Положения, выраженные в широтах и в странных «долготах по склонению компаса»: такие же, как на таунтонских карточках, слово в слово. Ничего нового. Эдриан почувствовал разочарование, которое тут же сменилось другим чувством, более тонким и более неприятным: чувством, что он смотрит на что-то слишком хорошее.

— Беатриш, — сказал он, — подержите лампу так, чтобы свет шёл сзади.

Он поднёс лист к лампе. Бумага вспыхнула золотом, и сквозь неё проступили цепные линии и водяной знак: якорь в круге, с неразличимой надписью. Он перевернул следующий лист. Тот же якорь. Следующий. Потом следующий, и на нём, едва он поднёс его к свету, цепные линии оказались расположены чуть чаще, а знак, тоже якорь, был вырезан на сотую долю глубже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.